



САША ЧЁРНЫЙ
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Литрес ≡

Саша Чёрный

Избранная проза

«Public Domain»

Чёрный С.

Избранная проза / С. Чёрный — «Public Domain»,

Саша Черный (1880–1932) хорошо знаком читателю прежде всего как поэт – блестящий сатирик и тонкий, ироничный лирик. В настоящей книге собраны лучшие прозаические произведения писателя. Светлые «Библейские сказки», лукавые «Солдатские сказки», озорной «Дневник фокса Микки» понятны и детям, и взрослым. Свет подлинного гуманизма и незатейливость рассказа о простых вещах – загадка обаяния прозы Саши Черного.

Содержание

Первое знакомство	5
Первое знакомство	5
Друг	31
Иероглифы	38
Библейские сказки	44
Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький	44
Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях	46
Первый грех	49
Праведник Иона	52
Голубиные башмаки	54
Невероятная история	54
Самое страшное	57
Голубиные башмаки	61
Пасхальный визит	64
В лунную ночь	67
Счастливый карп	71
Купальщики	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Саша Чёрный

Избранная проза

Первое знакомство

Первое знакомство

Станция Мценск. Чемодан в одну руку, портплед в другую и на платформу. Поезд взвизгнул и укатил, а я остался. Скамейка с веселым соседом-скорняком, свечи на столике, недопитый чай, скептический разговор с наборщиком в коридоре и уютная ночная печаль за окном – где все это?

Холодный ветер, мечущиеся фонари у дверей первого класса и ящик для писем – все такое обычное и чужое. Особенно чужие черные буквы на стене: «Мценск». Сейчас открою дверь, глаза увидят новых людей, и всякий будет нужен, как утопающему – круг.

Носильщик берет мои вещи и, пробуя на руке новый чемодан, с любопытством, но почтительно заглядывает в глаза:

– В номера изволите?

– Нет. Лошадей надо. В Торчино.

– Лошадей, ваша милость, не достать, поздно.

Поздно? Как же быть?

– А вы в номера, с дороги отдохнете, а утречком...

– Далеко?

– Два квартала-с. Номера Бочагова, Еремей довезет.

– Какой Еремей?

– Извозчик то есть, у подъезда. Прикажете нести?

– Несите. Клопов много?

Носильщик улыбается, словно я ему рубль подарил:

– Маленечко есть, господа не обижаются, ничего-с.

– Ну, ладно.

Прохладная пыльная тьма, собачий лай. Влезаю на темные дрожки, прижимаю к груди чемодан и доверчиво всматриваюсь в тьму. Через 10 минут жестокой тряски приехали. Еще новый человек вынырнул из тьмы, потащил вещи и привел наверх. Оказался блондином; конечно, заспанным, конечно, грязным и, конечно, первые слова: «Пожалуйста паспорт».

Вхожу в номер, закрываю за собой дверь и оглядываюсь. Чужое... чужое, – там, за ставнями, сотни верст тьмы, незнакомой земли, лесов и пещерных жилищ, – здесь квадрат, оклеенный малиновой с золотом бумагой, запах грязного белья и обезьяньей клетки. А в центре я. Кто я? Зачем здесь? Спать.

Старые темные волны подступили, остановили расшатавшиеся ноги, опустили голову... Но ерунда, к черту – спать все-таки надо, а утром будет солнце и все будет иначе. С гадливостью сбросил на пол сальное ватное одеяло и жеваное белье, разостлал на матрац портплед, сверху свою простыню, укрылся пальто и, стараясь не касаться ни одной точкой тела заплеченной стены и железа кровати, укрылся с головой, притаился, согрелся кое-как и через пять минут умер легко и кротко.

.....

Воскрес и ничего не понимаю. Где? Во всех четырех окнах, как в рамах, пестрый нищенский жанр: мелкая речка, водовоз на бочке, заплатанный свайный мост, обшарпанные дома,

осевшие и кривые, точно их кто распер изнутри, наличники, окрашенные синькой и охрой, и церкви... одна, две, четыре, шесть, семь, – все разные, игрушечных стилей, яркие, – словно декорация из национального балета. Все такое знакомое по книжкам, выставкам, но почему-то никогда не приходило в голову, что оно существует, где-то живет, кем-то заведено и до сих пор, как было в «Мертвых душах», так и сохранилось. Уездная Помпея, так сказать. Разве только вокзал железной дороги пристроился на окраине.

Звоню:

– Самовар, и как насчет лошадей?

– Сейчас.

Услужаящий засален, заспан, угрюм и пахнет чем-то очень сложным и тяжелым – словом, традиция соблюдена до мелочей. Даже трогательно. Самовар оказался такого цвета, точно его только что выкопали из кургана, чай отдавал мокрой шерстью, а баранки ломались с сухим треском и рассыпались в пальцах. Мне стало смешно.

Солнце залило комнату, и вся эта рвань за окном как-то особенно приветливо и простенько запестрела. Когда там, за окном вагона, после бесконечных квадратов черной и бурой земли, оврагов, перелесков и лужков, вырастали груды крыш, а станция бросала в глаза имя своего городка, чтобы через минуту скрыть его навсегда – крыши эти были, как встречи во сне, слиты и призрачны. А тут, вот сейчас, выйду, увижу, проеду из конца в конец, и каждый нелепый домик с замшившимся тесом на крыше будет как свой и войдет в глаза на утреннем холодке, как новая жизнь и какая-то своя правда.

Черт знает что, – разбежался и вспыхнул, иду навстречу и знаю сам, что не к чему. Чужое и вымороченное. Солнце и из навоза стихотворение в прозе сделает...

Вот и вечер. Мужик с бляхой на затылке, в картузе, в нагольном тулупе. Борода до бровей, глаза как у Шелли, но десять рублей вместо шести, как надо бы взять, все-таки спросил и не уступил. Случай редкий – как не содрать, – поневоле в славянской душе проснулись итальянские инстинкты.

– Как вас зовут?

– Трифон.

– С колокольчиком поедем?

– Уж как полагается; погоди, за город выедем, отвяжу балабон-то. В городе исправник не дозволяет.

– А сам небось всегда с колокольчиком?

– Да ему кто ж запретит?

О, какие лошади! И не только у моего извозчика, вон и рядом, и еще вдоль забора, у всех извозчиков такие. Опилками они их кормят или хворостом? Или ничем? Усаживаюсь на ржавые, оборванные дрожки, смотрю и жду. Если бы нищий мог держать свой выезд, у него должен был бы быть точно такой экипаж и лошади. Спины так остры, что глазам больно – их бы куда-нибудь в лошадиную санаторию, что ли, а не гнать за тридцать верст. Овсом кормит, оказывается. Полную торбу под себя подложил.

– Но, эй!

Поехали, я думал – не повезут. Качаюсь вправо, качаюсь влево, голова болтается, камни на мостовой как черные клавиши, протарахтел мост, улица полезла в гору, тащимся, и с каждым шагом из-за крутого взгорья с желтой церковью все шире и шире разворачивается лиловая световая даль... Но глаза еще отворачиваются, ждут полного простора там, за городом, чтоб нанирваниться допьяна, без помехи. Опять повернули. Серые от дождей матовые заборы отливают тусклым блеском на сучках, над заборами – яблони. Кое-где среди ржавых лепестков белеет еще последний цвет, – так давно, так давно не видел... Там, за заборами, скамейки под густыми кустами, беседки, закрытые хмелем, тишина и сырость... Мимо, ни к чему! «Продажа

муки и прочего зерна». Еще одна церковь. К чему им столько? Домики все реже, еще один, другой. У последнего старик в пиджаке и нижнем белье отворяет ставни. Конец.

– Что это за дом на горе?

– Чего?

– Дом, спрашиваю, чей на горе?

– Не дом, это – тюрьма.

Ну что ж, тюрьма так тюрьма. Два этажа, беленькая. Во всем городе такого большого, красивого дома нет. Спасибо хоть за то, что горизонт украшает...

Все дальше, дальше... Поля подошли к колесам, грачи поднимают головы от земли, смотрят и равнодушно поворачиваются боком; железнодорожный мост спрятал последнюю арку, навстречу зашумела у перекрестка искалеченная ракета, и, как ровный колыбельный напев, закачался у дуги тонкий, чуть надтреснутый томный плеск. Небо стало другим. Громадное, глазом не охватишь, здесь синее, там голубое, облака развернулись и стали, – края как золотые стружки. Воздух – как полная радость, дышишь, словно здоровье пьешь-пьешь, и жажде конца нет. Землей пахнет, травами пахнет, тишина до края земли, и колокольчик словно не к дуге привешен, а к самому сердцу.

Дорога колея в восемь – земли не жалко – взобралась на пригорок, и вдруг поля исчезли. Въехали в деревню. Прямая длинная улица, только одна, по бокам низкие кубы, одни из бревен, другие кирпичные. Дырки побольше – двери, дырки поменьше – окна. Там и сям перед избами тощие ракетки. Навстречу с криком бегут оборванные дети. Мужик подымается с земли и снимает на всякий случай шапку... Проехали...

Я мог бы теперь быть в Сицилии или в Каире... Или в другом таком месте, где еще можно видеть последние клочки чудес на земном шаре. Отчего же я здесь? Ах, да! Петр Петрович посоветовал: сказал, что в стране, в которой мы живем, есть свой необъятный Каир, – очень удобный к тому же Каир, потому что в нем говорят по-русски. Назвал знакомое село: далеко от города, не очень бедно, есть пруд...

Какое оно, это село? Есть там леса и глубокие складки земли, заросшие прохладными кустами, какие люди, у кого буду жить, что будет перед окном?.. Все это уже есть и иным, чем оно есть, быть не может, но я не знаю, я еще не видел, и для меня это новое так многогранно и таинственно... Качаюсь вправо, качаюсь влево, глаза уходят за сизую полосу горизонта, все обычное отошло, душа словно пустая квартира – все выбросила и ждет новых жильцов...

* * *

С северной стороны администрация и культура: волостное, чайная (там же и водка), больница с темно-зеленой каймой шиповника вдоль ограды и двухэтажная веселая школа. Перед школой уютные лохматые липы.

С востока, запада и юга попроще: деревянные и кирпичные избы под огромными нестриженными соломенными крышами (у лавочника железная), по кирпичу белые разводы зигзагами вверх и вниз.

В юго-западном углу крытый колодец с колесом, перед колодцем кирпичный домик с косой трещиной через всю стенку и – слава богу! – две ракетки. У домика крытое крыльцо со скамейкой. На скамейке я. Вот вся топография.

Остальное меняется: облака в небе то стоят над колодцем, то уходят в конец дальней улочки, маленькие дети то рассматривают меня в упор, усевшись перед крыльцом на траве, то садятся сбоку и рассматривают мой профиль. В домике я один. Хозяину его оторвало на шахтах ногу, и так как на деревяшке за плугом не утонишься, то он, вернувшись, устроился сторожем в школе за три версты, а дом сдавал кому придется. В прошлом году больнице под рожениц, в этом – мне. Жена его, Феня, приходит ежедневно готовить обед.

Хорошо ли? Шарик, который в позе сфинкса лежит под ракистой, вероятно, усмехнулся бы на такой вопрос, если бы понимал. То один глаз откроет, то другой, оба сразу – лень; язык вывесил и греется. Может быть, где-нибудь за полверсты и лучше. Под березой на опушке роши... Там повернешься на один бок – небо, как океан в парусах, и сквозная зелень трав так таинственно бормочет и качается, повернешься на другой – белые стволы, словно из тела растут, а верхушки мотаются у самой голубой краски. Лучше там, Шарик, а? Вот ты лежишь, как колода, под неинтересным деревом, а у пруда можно погонять по кустам, напиться, утенка деревенского сцапать – благо никто не увидит. Но пока туда доберешься... Жара. Летняя лень, как запой. Лежит Шарик, сидят дети, сижу я – и так целыми часами. Дети молчат и смотрят.

Самый маленький и пузатый время от времени наклоняется к белоголовой девочке с черными глазами и, захлебываясь, сообщает ей, очевидно, результат своих наблюдений над моей особой. Что он такое говорит, одному богу известно, потому что у него вместо слов пузыри изо рта выскакивают. Девочка досадливо отодвигает его локтем и еще пристальнее, еще неотвязнее впивается в мою фигуру. Подходят новые и новые, усаживаются на земле и с выражением напряженного ожидания начинают меня разглядывать: лицо, ботинки, цепочку от часов и пр. Мне все более неловко, я чувствую, что надо что-нибудь такое сделать, чтобы их не разочаровать. Вспоминаю, как мы ходили с братьями в детстве в зоологический сад и часами обиженно простаивали перед клеткой медведя или какой-нибудь вялой птицы, которые упрямо не желали двигаться, – вспоминаю, кстати, свой давно забытый талант и, победив внезапное волнение артиста перед незнакомой публикой, – заливаюсь лаем на весь выгон.

Успех полный. Шарик вскочил и чуть не схватил меня за губу, вихрястый мальчик с выбитыми зубами перевернулся через голову и обнаружил всю неисправность своего костюма со стороны ближайшей к земле, девочка взвизгнула, самый маленький упал и заплакал, но потом понял, в чем дело, и стал от восторга пускать такие пузыри, что мне страшно стало...

Пришлось повторить еще и еще, потому что слишком уж хорошо они смеялись. Так хорошо, что даже действительный тайный советник улыбнулся бы в ответ и, пожалуй, тоже залаял бы, чтобы снова вызвать такой смех...

Потом я курил и пускал дым из ноздрей, ловил три камня одной рукой, высовывал язык, свистал и уже думал, что лед сломан и можно перейти к более культурным формам общения. Но напрасно. Едва окончилась увеселительная программа, как наступило полное молчание, только пузатый все громче сопел от напряжения, а остальные, как маленькие будды, неподвижно и важно сидели на траве и рассматривали меня.

– Как тебя зовут? – спрашиваю девочку.

Молчание.

– А тебя? – спрашиваю лукавого мальчишку в рваной малиновой рубашке.

– Проглотил язык? Ну ладно, не будете разговаривать, так я больше лаять не буду.

Молчание, но уже начинают переглядываться и прятаться друг за друга. Я встаю со скамьи, подхожу к девочке, опускаюсь рядом на траву и заглядываю в ясные черные глазки:

– Отчего ты не хочешь сказать, как тебя зовут?

И вот происходит нечто необыкновенное: девочка стремительно бросается на землю и в припадке какого-то патологического смущения (другого слова и не подберу) закрывает руками лицо и подворачивает голову под плечо. Обращаюсь к другому – то же самое. Оцепенел, свернулся в клубок, закрыл лицо и так крепко прижался к траве, что и не оторвешь никак. Зато остальные довольны необычайно – в глазах блеснуло не то злорадство, не то сочувствие. Даже языки развязались: «Так ее, так ее! Боишься? Смотри, за руку Серегу берет...» – «Серега, не поддавайся! Черт!»

Я печально вздыхаю, поднимаюсь и иду к себе. Еще не один день нам надо рассматривать друг друга, чтобы узнать, как кого зовут. В передней висят «котёлки» (так здесь называются

баранки), снимаю и отдаю им. Но взятка не помогла: стремительно съели и опять застыли в прежних позах.

Ухожу в комнату. Жаль опускать занавески, жаль закрывать синее небо и дальнюю улочку с раkitами, еще больше жаль лишиться ребят дарового представления – вон они уже сидят друг на друге и разглядывают сквозь оба окошка и меня и комнату. Но что делать? Кроме чемодана и умения лаять, я ведь привез и так называемые нервы, – когда даже такие маленькие люди так долго и неотступно осматривают тебя, начинает казаться, что ты голый, живешь в каком-то стеклянном аквариуме... Даже не голый, а больше – точно с тебя кожу содрали и смотрят. Они вот падают же на землю, когда подходишь к ним ближе.

.....

Белые стены. Низкий потолок. На стене яркие картинки из «Jugend» (сам вделал в стекла), карта России из путеводителя и Толстой на кнопках, над Толстым огненное орловское полотенце, а над постелью – горячий, веселый оранжевый платок с малиновыми розами и изумрудными листьями. Стены – это главное. Когда вот такие уютные штучки развесишь, как-то спокойнее себя чувствуешь, словно в степи за ширмами сидишь. А иногда засмотришься на яркие краски, на мудрые лица и обрадуешься. Радость маленькая, а все-таки радость. Пусть по существу радость эта как голодному нарисованный окорок, – что делать, если другого нет? Хоть оближешься и вздохнешь, – все лучше, чем бить мух уныния на собственной голове... И стол у меня есть: достал из школы в виде одолжения учителя за интеллигентные разговоры. На столе в банках изумительной нежности полевые цветы: кашки, ромашки и еще что-то лиловенькое, высокое, сквозное и радостное. В углу кровать: композиция из холстины, досок и сена. У дверей висит доска на бечевках, а на ней Диккенс и иные сладкие обманщики, которые здесь так легко и полно входят в голову, а в городе годами валялись на полках.

Вот и вся комната. Хороша, не правда ли? Нарядная, новая маленькая коробка: живи в ней хоть посреди Ледовитого океана, и то не страшно. А тут еще за оконной занавеской сквозит зелень, мягкие пятна изб, небо.

Жужжание бесчисленных мух сливается в один гудящий контрабас, немецкая толстая Mädchen из «Jugend» жизнерадостно упирается в бока, и мне начинает казаться, что немного сонное, немного недоуменное ощущение свободы и безделья, наполняющее тело, есть ощущение счастья.

Бабы, которые приносят яйца, масло и прочие необходимые для каждого мирозерцания предметы, удивляются и ахают – крестьянская изба, и так, мол, красиво. Такое проявление вкуса радует, но досадно: полотенца и платок я у них же купил, а до меня они прели в сундуках.

Что бы вынуть и развесить? Но полотенца эти, как объяснили мне бабы, вышли из моды, а платки они носят на головах. Цветов тоже вокруг сколько угодно. Кувшины есть, и вода есть. Но странно, такая простая мысль, что бабы нарвут цветов и поставят у себя на столе, как-то сразу съезживается и вянет... С полотенцами прямо беда: нужно было одно, а купил три, и теперь носят каждый день без конца. Вытаскивают из сундуков холсты, которые сами прями, уборы, вышитые их матерями, половики, и все мне. Я удивляюсь, но привычка подтасовывает карты, снисходительно уверяет, что удивляться нечему, что я «покупаю», что здесь деньги редки и дороги и т. д. Но многому уже веришь с трудом, – веришь с трудом, что где-то есть конные статуи на площадях, журнальные направления и прочие городские удовольствия.

На кухне что-то шипит и булькает. Вернулась хозяйка с ведрами, а с ней восьмилетняя дочка Аннушка – тоненькая, быстрая, вся запыхалась и трется о юбку матери. Совсем как жеребенок... Хозяйка красивая, строгая, улыбается редко и говорит со мной, всегда отвернувшись в сторону.

– Скоро обедать?

Феня пробует вилкой:

– Картошки еще твердые, погодить надо.

– Ну, ладно.

Иду в сад. К задней стороне дома плотник за рубль пришел по бокам несколько досок, с четвертой стороны бесплатно торчит соседний плетень. В этом курятнике садовник из соседнего имения насажал цинний, астр и душистого горошку вдоль плетня. Посредине, как я его ни умолял, сделал клумбу, обсадил ее гирляндой из голых ивовых прутьев и утвердил на вершине этого торта горшок с геранью. По бокам, у дверей, посадил несколько бобов, и мой Эдем был закончен. Скамейку заменил березовый обрубок, а стол – найденная на школьном чердаке старая дверь, которую я с великим трудом утвердил на четырех колышках.

По ту сторону забора все это предприятие казалось талантливым шаржем на дачную жизнь, но я был доволен необыкновенно. И не один я. У забора перебивало все село, и я не заметил ни одной скептической улыбки. Одобряли: одному вспомнилась городская портерная с садом, и он подмигнул мне, показывая на стол: «Пивка бы сюда, барин?» Другие сочувственно смотрели, как я сидел на обрубке, и видно было, что это их успокаивает, что человек в пиджаке так и должен сидеть на обрубке, за перегородкой, перед идиотской клумбой с геранью, что этим он, так сказать, исполняет свои функции и украшает собою село. Я даже слышал, как, проходя мимо, бабы со вкусом говорили другим бабам (вероятно, из другой деревни): «А вон там наш дачник сидит!» И чужие бабы подходили к забору и смотрели на меня.

Теперь привыкли. Я вот стою уже минут десять в дверях, и только два крошечных белокрысых мальчугана из коровинской избы присели на корточки у забора, смотрят на меня и шушукуются. Медленно обхожу клумбу. Во всем теле ленивый хмель безделья и беспечности. Останавливаюсь над грядкой у плетня и смотрю: ростки горошка уже кое-где приподняли землю: сморщенные, бледно-зеленые – что в них? Но глаза никогда не видали, как показываются цветы из земли. В цветочных магазинах они продаются в готовом виде, а здесь я сажал их вместе с садовником, я их поливаю, гоняю от них кур и цыплят, когда те пролезают сквозь самые узкие щели внизу забора и бросаются как угорелые прямо на грядки... Сентиментальность? Скорее, я думаю, любовь; большие ее запасы остаются в городе нераскупоренными, а тут за день столько простого и ясного увидишь, – того, к чему там все пути уже закрыты, – что невольно раскупориваешься и выходишь из берегов.

С этими медленно выплывающими мыслями сливаются, как с облаками, другие, которых ни за что не уловить – так много в них образов от дальней рощи, от колыханья конопли за плетнем и смутного сознания, что все это как будто и не существует, что день отъезда сотрет всю эту чужую реальность, как губка новые слова на доске...

Дошел до стены и вздрагиваю – против меня, облокотясь на забор, стоит Коровин, черный, с блестящими глазами, похожий на цыгана мужик. Сейчас будет разговор. И точно: гнусаво поздоровался (болен он, что ли, но такого гнусавого голоса я никогда в жизни не слышал) и начал издали:

– Гуляешь?

– Да... вот... гуляю.

– Погода хороша нонче.

– Хороша.

– Пондравилось у нас?

– Очень. Лесу только мало у вас, погулять негде.

– Погулять? – Коровин ядовито усмехнулся в сторону. – Погулять и без лесу можно. Вот насчет отопления, это точно, без леса не отопишься.

– Куда же вы лес девали?

– Куды девали? Господину Харитонову на доски в прошлом годе продали. Еще вон роща есть – на две зимы хватит, а там хошь бородой отопляйся.

– Зачем же лес продавали?

– Зачем? – Коровин еще ехиднее ухмыляется. – Покупал – как же ты не продашь? Деньги всегда надобны.

– Гм... Так вы бы сажали лес. Часть вырубить, часть посадить. Вот всегда и будет, – как в именье здесь.

– В именье? – Лицо Коровина изображает высшую степень сарказма. – Позвольте вас спросить, какое ваше занятие будет? – перешел он вдруг на «вы».

– Занятие, – сконфузился я. – Пишу... в газетах...

– В газетах... а говоришь, зачем мужики лес не сажают...

– Да ведь помещик сажает?

– Помещик? Помещик, может, на тройке водку ездит пить к соседу, а мужик на одной пашет...

Аргумент был так неожидан, что я промолчал.

– У нас, брат, картох до весны не хватает, а помещик одних груш возов десять в город посылает.

– И у вас могут быть груши...

– Груши, а может, и апельсины?

Упорное повторение моих последних слов и «апельсины» окончательно взорвали меня. Я сделал рукой широкий жест и не без жару произнес:

– Да, груши! «Апельсины» нет, а груш можете иметь сколько угодно. Вон пустырь, и там пустырь, и у вашего дома пустырь. Посадите каждый хоть по дереву – не велик труд, – и у всех будут груши.

– Не будут.

– Почему не будут?

– Ребята переломают.

– А вы огородите.

– Может, и сторожа к ним нанять?

– Зачем сторожа? Отчего же у немцев не только возле домов, а все дороги грушами и яблонями обсажены и никто не ломает?

– У немцев? Вы видали?

– Видел.

– Так то у немцев, у нас нельзя этого. Не переломают, так покрадут.

– Кто украдет, если у всех будут?

– Ну, ребята обтрясут да зелеными полопают. Вон как горох: Тимохин посадил – раскрали, у Бобкова покрали, у лавочника и то покрали... Вот тебе и груши!

– Это верно, покрадут, – с удовольствием подтвердил сосед, внезапно появляясь из-за плетня.

Молчание.

– Скучаете у нас? – осведомляется он с таким видом, будто иначе и быть не может и что скука – это тоже одна из функций господина в пиджаке.

– Чего ему скучать? – отвечает за меня Коровин. – На всем готовом, читай да гуляй, только и делов.

И все это без малейшей иронии, точно он определил меня простой и ясной формулой, всем давно известной. Я переминаюсь и поворачиваюсь к клумбе, чтобы приготовить отступление, но сосед удерживает меня вопросом:

– Листок получили?

– Какой листок?

– Газету тоись? Я из волостного принес сегодня, вам под дверь сунул.

– Получил, спасибо.

– Нет ли чего? Насчет хуторов или так?

– Насчет хуторов нет. Да ведь к вам в воскресенье член приедет насчет хуторов, он и расскажет.

– Расскажет, само собой, да в листке, чать, все больше... Настоящее, тоись...

– Нет ничего. Все больше пишут, как летают. Убился один русский. Упал на дерево и убился.

– Летают, говоришь. Как же это?

Я, насколько мог яснее и подробнее, стал рассказывать, как летают, кто летает и для каких надобностей, но в середине рассказа Коровин равнодушно меня перебил:

– Ни к чему это. Зря.

Очевидно, он поверил мне, нисколько не удивился и только решил, что это «зря».

Я ничего не мог на это возразить и опять повернулся к клумбе, но, к счастью, Феня выручила – появилась в дверях и сказала: «Пожалуйста кушать».

Ем. Мухи как пьяные кружат над борщом и, так как он слишком горяч, едят меня. За перегородкой на кухне, как несмазанные насосы, втягивают в себя борщ Феня с Аннушкой. Обедать со мной вместе они не хотят. Аннушку, может быть, и удалось бы убедить – она любопытнее и посмотреть, как ест человек в пиджаке, очень интересно, но ее мать чувствует разницу положения не хуже любой губернаторши и наотрез отказалась:

– Нет, мы уж на кухне.

– Да почему на кухне, Феня? В комнате прохладнее и чище, да и мне вместе обедать веселее.

– Нет, уж мы на кухне.

Когда такое возражение с безнадежно-одинаковой интонацией повторяется раз пять, невольно падаешь духом и отходишь.

Ем. Аннушка что-то оживленно шепчет матери. Мне очень интересно послушать, но я знаю, что стоит мне только встать и подойти к дверям, чтоб она замолчала. За занавеской все еще висит на руках любопытный мальчишка. Ему ничего не видно, но он, очевидно, дошел до мысли, что должен же я когда-нибудь откинуть занавеску, – и он не пропустит этого счастливого момента, хотя бы ему пришлось висеть так до вечера. А там, у колодца, мутными пятнами сквозят на траве фигуры ожидающих. Точно у кассы Художественного театра.

Борщ становится все преснее и безвкуснее, и я в раздражении думаю, что деликатность должна бы быть врожденным качеством и совершенно от культуры не зависеть и что голова мальчишки через минуту проломит стекло и в припадке ужаса застрянет между выгоном и комнатой. Подхожу к окну, отдергиваю занавеску и в упор смотрю на мальчика. В первые мгновения он изумленно смотрит на меня, как на летающую лошадь, но через минуту не выдерживает, кубарем слетает на траву и ревет. Остальные, как воробьи, перепархивают по земле и боком подбегают к окну. В эту минуту Феня вносит картофельные котлеты. Но ребятам так и не суждено было увидеть, как я их ем – она распахнула окно и решительно вступилась за мои интересы:

– Озорники! Не видали, как человек ест, что ли? Пошли прочь!

Никакого впечатления.

– Пошли прочь, говорю!.. А то возьму хворостину...

Магическое слово вызвало знакомый образ и подействовало. Они ушли, а я виновато вздохнул. Пусть бы смотрели, – смотрю же я, как овцы щиплют траву: для меня ново, а овцам, быть может, тоже неприятно.

В улочке за колодцем оживление. К третьему домику слева подъехала телега. Мужик сбросил на траву гроб. Подходят бабы, со всех сторон сбегаются дети, но к самому дому никто близко не подходит.

– Что там такое, Феня?

– Харитон помер.

– Отчего?

– Сибирка. Корову драл, вот и пристала.

– Что ж он, лечился?

– Дурной он. Кабы лечился как следует, выжил бы... Восемь ден в больницу не шел, а на девятый пришел, рука вся напухла, как колбаса гнилая...

Она ставит на стол кисель и продолжает:

– Вылечился бы, ничего... Шпринцевали его там, через день полегчало, да баба-дура испугалась, что помрет, положила его вчерась на телегу и повезла причащать. Наш поп хворый, повезла к другим...

– Ну и что ж?

– Митрохинский в город уехал... Покровский забранил, зачем поздно привезла, прогнал, – повезла в Хомутово, да лошадь заморилась – стала. А тут дождь пошел. Беда... Привезла его домой, светать стало, а он не дышит... Что ж вы киселя не едите?

– Спасибо. Не хочется. Что ж, корову закопали?

– Кому охота?! – презрительно фыркает Феня. – В овраг сволокли – и то спасибо.

– Да ведь все стадо заразиться может!

– Им что? Шкура снята, хозяин свое получил, чего еще? Покойника вот бояться. Обмыть надо, да бабы бояться – не идут. Кисель убрать, что ли?

– Уберите.

Однако не все бояться. Вот в избу вошла одна, другая, и вся толпа подвинулась ближе.

Мухи, отяжелев от обеда, с удручающим упорством вяло опускаются на мое лицо. Вспоминаю, что, может быть, час назад они сидели на руке Харитона и наливались... Бррр!.. Взмахиваю руками и начинаю шагать по комнате: мухи оставляют меня в покое и головами внутрь собираются в черные живые круги над каплями борща.

За перегородкой Аннушка ожесточенно вычерпывает кисель. Подхожу на цыпочках и смотрю в щель: ишь ты! Щеки в киселе, нос в киселе, глаза сияют, засунет ложку в рот до самого черенка, потом облизет ее изнутри и снаружи и опять в тарелку.

– Вкусно?

Аннушка подымает голову и улыбается. Положительно, здесь, в деревне, по-особенному улыбаются, – не улыбка, а какая-то эссенция улыбки. Мать сдержаннее: шевельнула углами рта и ласково покосилась на дочку. Мне досадно, что разговор оборвался. О сибирской язве и о Харитоне, положим, не аппетитно слушать, но Феня удивительно рассказывает. Интересны не самые слова, а то, что за ними: все совершенно определено, твердо и с оттенком снисходительности к собеседнику. Точно это Платон беседует, а не жена безногого сторожа.

– Скажите, Феня, где лучше, в городе или в деревне?

– Как кому. Вам в городе, чай, лучше.

– Почему вы думаете?

– А как же? В гости сходить, или к вам придет кто... подходящий.

Гм... подходящий. Ошиблись, друг мой, сию дома, как сыч, а если кто и придет, так совсем не «подходящий»...

– А вы в городе были?

– Была. Один раз была, – сказала и рассмеялась.

– Чего вы?

– Да так.

– Что так? Вы расскажите как следует.

– Смешно уж очень! После свадьбы года с два прошло, а я-то со своим и недели не пожила. Поженили его, да на шахты, в дому и без него два брата, он выходил лишний. Два года, значит, прожил на шахтах и заскучал: пишет письмо, чтоб я к нему приезжала немедля, и денег прислал на билет...

– Ну-те...

Феня перетирает кастрюлю и ждет, пока Аннушка доложит тарелку и уйдет в сад.

– Еле добралась. Сперва кондуктор подлый попался, хотел ссадить меня на станции, где ему смена была. Здесь, говорит, тебе слезать, а я неграмотная была тогда...

– Зачем слезать? – не понял я.

– Да так... – Феня конфузится. – Красивая я была... Слава богу, люди заступились, прочитали билет, а то бы беда... Приехала в город и с письмом пошла на шахты. Грязно как, боже спаси, уголь на зубах хрустит, трубы какие-то да сараи, люди, как черти, вымазавшись ходят. Иду с письмом, дорогу спрашиваю, а шахтеры в тот час в казармах отдыхали. Показали казарму, где мой Михаил был. Только чувствую, что не помню, какой он из себя, хоть убей, не помню! Да и то сказать: долго ли мы с ним и пожилы-то? Забыла. Испужалась я до смерти тогда. Одна, никого не знаю, денег рубль, народ кругом озорной. А все иду, – чего станешь делать?

Она перевела дух и остановилась, и по лицу ее совсем не было видно, что это ей даже и теперь «очень смешно».

– Как же вы его нашли?

– Бог спас. Взошла в казарму, в глазах темно стало, лежат на полу шахтеры как дрова, черные все – может, триста их там было; и все как один. Спросить боюсь, дрожу, а вдруг покажут, а он вовсе и не муж мне – я одна, их полна казарма, что делать? Погубят. Только обхожу я их так, да глянула вдруг на одну рубашку и признала. Сама вышивала, только к Успенью послала, – как свою работу не признать? Ну, и не ошиблась, действительно муж оказался. Смеялись потом очень.

– А если б ошиблись?

– Так бы и пропала.

Это было сказано так уверенно и просто, что я на мгновение задумался, представил себе всю картину и невольно повторил: «Так бы и пропала».

Ложки и тарелки вымыты, стол тоже. Феня берет свое лукошко, в котором она приносит овощи, и кличет дочь: «Куды пропала? Домой надо». Потом поворачивается ко мне и безразличным голосом, точно она не мне все это только что рассказывала, а стенке, говорит:

– Прощайте. Там у нас баба цыплятами называется¹. Принести, что ль?

– Нет, не надо.

– Ну что ж.

Аннушка приветливее и, уходя, оборачивается:

– Я тебе завтра розан принесу.

– Распустился уже?

– Распустился. Во какой розан!

– Спасибо.

Ушли. Я опять на крыльце. Сижу уже бесконечно долго. Приходили цыплята и клевали пшено прямо из рук. Приходил Шарик и съел на зависть всем соседским собакам (и, кажется, не только собакам) гущу от борща с хлебом. Потом ребята разошлись и, шеголяя передо мной и друг перед другом, показывали разные штуки: цеплялись ногами за жердь между двумя ракетами и висели вниз головой, пока глаза не вылезали на лоб, боролись, плевали Шарикку между глаз, – потом им надоело, и они ушли на другой конец выгона, уселись там в кружок и затеяли какую-то таинственную игру. И справедливо. Ни о каких настроениях они не слыхали, – стоит ли зря занимать человека, который утром сам лаял и ходил на голове, а к концу дня сидит, как палка, и даже не вынесет ни одной котёлки или леденца...

Ветер далеко за улочкой взбил пыльный смерч и погнал к крыльцу. Харитона давно увезли и зарыли... Запад порозовел, и первая овца, низко наклоняя голову к земле, протру-

¹ Предлагает купить.

сила из-за дальнего поворота улицы к колодцу. За ней бежала частой рысью и непрерывно повизгивая черная поджарая свинья, за ней еще овца, которая бежала ровно, но вдруг сбивалась на какие-то странные прыжки и четко обеими передними ногами хлопала о землю, потом точно плотина прорвалась: колыхались черные, серые и белые овечьи спины, скрипел кашель, звенело детским плачем бляение, какие-то необыкновенно нервные свиньи мчались во весь карьер, не останавливаясь, и так же визжали, как первая, – собаки, сидя у своих ворот, коварно отворачивались в сторону и вдруг неожиданно кусали то ту, то другую свинью за зад или бок, свиньи отскакивали и в ужасе мчались назад, поросята пищали под ногами у овец и разыскивали взрослых, – а над всем этим живым, хрюкающим и бляющим потоком в волнах оранжевой пыли заходило солнце. Хозяйки выходили к воротам с хлебом в руках и кричали: «Тпруси, тпруси», – и овцы бежали на зов, дети хватили самых маленьких и глупых ягнят и тащили домой... Разыгрывалась какая-то овечья и поросячья симфония. Я сидел неподвижно на крыльце, как и в прошлые дни, и последним пальцем ноги чувствовал: «Вот, наконец, настоящее... близкое до конца». Радовался так, словно сквозь щелку в рай заглянул. Не правда ли, странно? До сих пор для меня это было то же, что «водопой жирафов в Синегамбии», – почему же с первого взгляда это стало таким же органически ценным и обычным, как... как стихи Пушкина?

Пробежала последняя овца. Как всегда, иду с ведром к колодцу: надо поливать цветы. Как всегда, одна из баб, которая тоже пришла с ведром, настойчиво хочет сделать это за меня, – ибо таскание ведер из колодца не было, по ее понятию, функцией человека в пиджаке. Но я огорчил бабу, бросил ведро в черную пасть и с силой дернул за колесо.

Мимо возвращались с работы подростки и взрослые. Одни фыркали, другие улыбались. Одни кланялись, другие не знали, кланяться или нет, третьи враждебно в упор смотрели в лицо и точно говорили: «Думаешь, поклонюсь? На-кось, выкуси». Все это, как обычно, смущало, и я был рад, когда очутился с ведром в саду... Сухая земля жадно пила воду. Стебли колыхались под струей, запах мокрой зелени и земли радовал так, словно сам я иссох от зноя и меня поливали... Так. Больше ни капли.

Задвинул засов, зажег лампу. Долго барабанил по столу и смотрел в окно... Ясные деревенские картинки, которые пестрели в оконных рамах утром, исчезли, – за окнами сизая мгла, последние угли заката, и со всех сторон умирающие дали. Спят куры, овцы, собаки, дети, дремлют мухи на потолке и сонно жужжат, словно кто тихо играет на гребенке, укладываются бабы и мужики, и через час на много верст все уснет. Даже сторож с колотушкой погремит, пока все не легли, а потом повалится на траву и захрапит. И отлично. Стихотворение в прозе: спящая деревня, одинокий индивидуалист в пиджаке, Katzenjammer и решение задачи на тему – «отчего люди живут, как свиньи»... К черту! И еще раз к черту! Такой хороший день, и вдруг к вечеру легкий приступ морской болезни. Нервы... надо бороться. А вдруг не нервы? И даже наверно не нервы...

Конечно, можно написать письмо, если есть кому и о чем. Конечно, можно пришить пуговицу к жилету, который ждет этого вторую неделю: к тому же, во-первых, каждый обязан, по возможности, делать все сам; во-вторых, труд наполняет время и... Еще нюанс: скребет мышь.

Подхожу к полке и долго не знаю, какую книгу буду я сегодня читать. Потом закрываю глаза, пробегаю пальцами по корешкам, как по клавишам, и вытаскиваю – Верлена. В голове пробегает дикая мысль: что, если позвать сторожа с колотушкой и попробовать своими словами рассказать ему что-нибудь из этой книги, ну хоть Коломбину? Позвать?.. О, как дико, как дико, – или среди тишины умирающего вечера недостает еще истерики, и надо, чтобы куры, собаки, дети проснулись и сбежались под окна?.. Сколько посторонней дряни живет под черепом...

Я тихо сижу за столом, и все во мне замирает. Я повторяю простые удивительные слова незнакомого мне человека, давно мертвого, – слова, которые я нашел в его книжке, раскрыв ее наугад:

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une lueur
Monotone.

Я радуюсь, что был такой человек, мне бесконечно жалко, что он никогда больше не увидит даже того, что видит простая овца, – а кому видеть, кому видеть и слышать, как не ему! Я опять и опять повторяю его слова, закрываю глаза и, вдруг содрогаясь, широко раскрываю их. Кто-то резко ударил в раму, окно распахнулось, дрожащая серая рука отодрала занавеску, и красная пьяная голова соседа тупо и изумленно уставилась на меня.

– Драстуй! С тобой пришел по-го-во-рить... Лампа горит. Думаю, скучно ему, дай поговорю... Баррин, – заорал он вдруг на всю деревню, – ты думаешь, я пьян, так не могу говорить. Моггу! Все могу...

– Я вам верю. Только не надо так кричать, – вы всю деревню разбудите. Зайдите в комнату, будем чай пить, поговорим.

– Пого-во-рить? А може, я с тобой не желаю говорить? Ты кто такой? Думаешь, лампу зажег, так и баррин... Нет, брат...

– Зачем вы так кричите? Вы бы пошли домой... Хотите, я вас отведу, вам бы лучше уснуть.

– Не желаю. «У московских у варот, есть налево па-ва-рот...»

– Не кричите, пожалуйста. И ступайте отсюда вон!

– Не желаю. Сам пошел к...!

Тогда я наклоняюсь к самым его глазам и медленно и твердо произношу:

– Пошел вон, пьяная морда, слышишь!

Он понял.

– Баррин! Доррогой мой! Правильно, последняя свинья я, пьяный пес и негодяй! Я тебе завтра петуха зарежу, какого хошь, – сказал и зарежу... Потому ты не брезгаешь. Я понимаю, я, брат...

Он ушел во тьму, продолжая выкрикивать какие-то бессвязные жалкие слова о моих добродетелях и своих пороках, и вдруг опять заорал на весь выгон:

У московских у варот
Есть налево па-варот...
Мы еще даля пайдем...

Но подошел караульщик, который до того, не желая отнимать у себя редкого развлечения, не вмешивался в его диалог со мной, и повлек его куда-то.

Опять тишина. Я сбросил Верлена на пол и вышел на крыльцо. Посреди дороги чернело какое-то чудовище. Подошел ближе: борона, зубьями кверху. Должно быть, сосед загулял и забыл убрать. Если кто наедет в темноте, – лошадь, чего доброго, ноги переломает, – она-то, во всяком случае, не виновата. Оттащил в сторону и оглянулся. Встал молодой месяц. Черные ракиты глухо шумели у темных изб. Перед больницей желтел одинокий фонарь... Все спят. В избе у соседа темно и тихо. Должно быть, его сволокли в пожарный сарай – до утра очуха-

ется... Что ж, у кого водка, у кого Верлен. Причина одна... Да и сам господин Верлен не оттого ли и пил, что слишком больно писать иные строки?

Спать, спать, спать.

* * *

Прошли недели... Тихие такие дни. Утром проснешься как новорожденный, закроешься от мух кисеею и, улыбаясь, смотришь, как они ползают над самыми зрачками, громадные такие, как крокодилы. Цыплята пищат на крыльце, а за занавеской дежурит знакомый кудлатый мальчик: я вижу, кто такой, а он меня не видит.

Всякий пустяк, всякое знакомое с детства движение приобретает новый радостный, хочется сказать, лирический характер. Со вкусом натягиваешь сапоги, со вкусом умываешься, и глаза смотрят не в эмалированный таз, а в траву, утыканную желтым коровником. Чай в саду вкуснее меда. Цыплята лезут в тарелку и щиплют хлеб, Шарик следит за каждым глотком, вздыхает, облизывается, ребята висят на заборе и завидуют. Словом, комическая идиллия во вкусе «*Fliegende Blätter*»... Потом купаешься в пруде, обедаешься лесной земляникой... Стоит только час, другой пролежать в роще или у пруда, как сейчас же вокруг открывается новый рынок: несут землянику, грибы, кто норовит продать свой складной нож, кто ежа. Поймает и тащит ко мне: купи. Куда он мне? Но они знают: «А ты как наемни, купи да выпусти»...

– А вы опять поймаете и мне продадите?

– Знамо! – и сами хохочут.

– Куда вам деньги?

– Мало куды! Гостинцев купить, подсолнухов...

– Подсолнухов? Вы бы весной посадили горстку семечек в огороде, – и покупать не надо.

– Посадил один такой! А летом что лущить-то?

– Осенью соберешь, и на лето хватит.

– Как же! Хватит! Все равно мамка продаст. Ты вот за грибы пятак дал, она увидала, себе взяла.

– Зачем же взяла? Ведь ты собирал?

– Что ж, что я: ей деньги нужней...

Слушаешь, слушаешь, встанешь, отойдешь будто так себе за стволы и заросшим оврагом улизнешь от них в такую глушь, что и ветер не слышит.

Лежишь и представляешь себе: я мужик, у меня три десятины земли (средний местный надел), жена, корова, лошадь и прочие принадлежности. Домик беленький, ставни зелененькие, с вырезанными сердечками посередине, перед домиком шиповник (из оврага сколько хочешь пересадить можно) и мальвы. Над окнами резные наличники, как в альбомах кустарных художеств (здесь ни у кого), у дверей скамейка со спинкой, – не сидеть же на земле, как они... В саду груши, яблони, смородина, малина, ульи и проч. В огороде огурцы, репа, горох, свекла, фасоль и т. п. прекрасные растения. Фасоль, например, и горох питательнее ржи, в случае засухи их можно поливать, а в огородах у местных крестьян, кроме «картох» и конопли, ничего... Лука нет. Громадные пространства обросли татарником, полынью и еще какой-то бурой дрянью. Об оврагах и говорить не стоит... Так думаю я, закрыв глаза, и представляю себе, как удивляются все крестьяне не только в селе, но и во всем округе. Как сначала завидуют, потом начинают подражать... Да, да, совершенно серьезно: я твердо верю, что если и не будут подражать, то все это каждому лично можно устроить. Зачем другому, может быть, мне? Купить в рассрочку три десятины... нанять работника, садовника, агронома, маляра... От этой простой, но ядовитой мысли вся идиллия сворачивается, как молоко от жары. Доводы против так и обгоняют друг друга... Хотя бы... хотя бы... то, что рассказала на днях фельдшерница. Крестьяне ее очень любят, и она их очень любит и возится с ними двадцать с лиш-

ним лет. Но она кроме крестьян любит еще и лилии и белые розы и насадила их за амбулаторией вдоль карниза. Какие-то необыкновенные сорта выписала. «Царицу весны» или как-то в этом роде. И вот, мало того что они и оне (взрослые, как клятвенно свидетельствовал сторож) неуклонно ходят туда гадить, хотя для этого устроен для них павильон, – какой-то дьявол взял да и выворотил эту «Царицу весны» с корнями и втоптал в землю. Словно не человек, а носорог. Фельдшерица так огорчилась, что и слов не находила. Пришел к ней чай пить, а она сидит и повторяет:

– Зачем они это сделали? Ну зачем?..

Вот и обзаводись зелеными ставнями с сердечками, мальвами и проч...

Так, под орешником в овраге домечтаешься и довозражаешь себе до того, что устанешь и уснешь, как жук в сене.

.....

Сегодня был особенно пестрый день. Утром зашел в школу. Сторож Игнат, маленький лысый человечек, на круглых ногах, дал мне ключ от шкапа с инструментами и показал, как надо строгать. Сначала начерно шершелем, потом рубанком и наконец самой большой штукой – фуганком. По-моему, все они рубанки, только один побольше, другой поменьше. Но Игнат категорически заявил:

– Не, как же можно. Названия дана каждому своя. Скажем, теленок и корова, порода одна, а названия разная... Как же без названия!

Я убеждаюсь. Рубанок ерзает вправо и влево. Игнат сидит на соседнем верстаке и с увлечением командует:

– Ровно надо! Сначала толкани, опосля ровно! Чтоб стружка ровная, не рвстая. Во как! Во как! Во как!

Собственно, было бы гораздо лучше, если бы он ушел, и стружка была бы тогда не «рвстая», и рубанок шел бы ровнее. Но Игнат не понимает, что люди в пиджаках, когда смотрят на их работу, начинают волноваться и нервничать. Я искромсал доску, устал и бросил ее. Тогда Игнат слез с верстака и в десять легких взмахов, выгладив ее, повернулся ко мне и сказал:

– Во как надо! Вещь не хитрая...

«Может быть, дорогой мой, может быть... Я вот от рождения рубанка в руках не держал, а ты всю жизнь с ним провозился, и все-таки я в пять, шесть раз перейму эту «нехитрую вещь», а ты попробуй: не хочешь ли, подарю тебе, ну хоть «Евгения Онегина», – с рисуночками даже для облегчения, – осиль его, друг... До самой смерти не осилишь, хоть трех приват-доцентов по русской словесности для разъяснения к тебе приставить!»

Этакая дрянная, гаденькая мысль... мелькнула и скрылась, как судорога. Откуда она пришла? Почему за секунду до того ее не было, и путей к ней даже не было?

В школьной зале глухой стук, жужжание и кто-то поет тоненьким голоском.

– Что там, Игнат?

– А ткачихи – толкачевская Дуня да Саша Плотникова, – пренебрежительно отвечает сторож, – акушерке полотенца ткут.

Вхожу и здороваюсь. Дуня похитрее: лисье личико, быстрые глаза, худенькая. Одной рукой колесо вертит, другой катушку придерживает, нитки мотает. Остановилась и петь перестала. Саша посolidнее: опустила глаза на холст, стучит станком и головы не подымает. На обеих платки до глаз.

– Что ж вы, Дуня, не поете?

– Уйдете, запою.

– Разве я вам мешаю?

Переглядывается с Сашей и прыскает.

– Ну, что ж. Мешаю, так уйду!

– Что вы ее слушаете, – возмущается Игнат. – Ишь ты, принцесса какá, – «уйдете, запою». Интересно им, чего не поешь, язык отвалится, что ль?

– И без вас спою, дяденька. Вашего носа здесь не спрашивается.

– Носа! – Игнат обижается. – Цаца кака нашлась. Сговоришь с тобой, как же... Тьфу!

Слава богу, ушел. Прямо наказание, без толмачей и чичероне шагу не ступишь.

– Вы не уходите, я так... – дружелюбно обращается ко мне Дуня.

Я сажусь на скамью.

– Что это вы пели?

– Песню.

– Какую?

– Да так, песня. Деревенская.

– А вы расскажите мне ее.

– Зачем вам?

– Интересно. Городские знаю, а ваших нет. Расскажите, а я запишу.

«Запишу» озадачило ее.

– Зачем писать, я так скажу.

– Лучше уж я запишу, а то все забуду. С собой в город повезу, память будет.

Пошепталась с Сашей, подумала и решительно тряхнула головой.

– Пишите. Какую, Саша, сказывать?

– «Приехал гусарик», – тихо отвечает Саша, не отрываясь от работы.

– Только речами трудно сказывать...

– Так вы пойте. Вот как до меня, и нитки свои мотайте. Я не хочу вам мешать.

Дуня смутилась и петь отказалась:

– Пишите:

Приехал гусарик
Из нового полку.
Недавно приехал,
Опять уезжает.

Его расхорошая
Плачет и рыдает,
Плачет и рыдает,
На ночь оставляет.

Песня была длинная, глупая, отзывалась каким-то особым, лакейски-писарским романтизмом. Диктовала Дуня превосходно. Кружила колесо и косилась глазом на мой карандаш, чтоб не поспешить и не отстать. Записал.

– Хороша?

– Нет, не хороша.

– Вот видите, а сами просите...

– Вы не сердитесь, Дуня. Ведь песня-то не ваша?

– Шахтерская.

– Вот видите! А вы скажите вашу, деревенскую.

Опять пошептались.

– Пишите:

Горько мне, горько калинушку кушать,
Горчей того нету за старым за мужем.

За старым за мужем ни игры, ни потехи,
Ни тихоговорья, ни ласкового слова.
Он спать ложится, как дуб валится,
Распустил свои сопли по моим по подушкам...

Сладко мне, сладко малинушку кушать,
Лучше того нету за младым за мужем.
За младым за мужем игра и потеха
И тихоговорье и ласковое слово.
Он спать ложится, как голубь гуркует,
Распустил свои кудри по моим по подушкам.

Я, затаив дыхание, записывал эту удивительную песню. Даже ужасные сопли не оскорбили уха.

- И эта, скажете, нехороша?
- Так хороша, что лучше и не надо!
- Правда? – недоверчиво спросила Дуня. – Так вам нравится?
- А вам?
- Песня ничего. Ваши все лучше.
- Какие наши?
- Городские. «Чуден месяц»...
- «Ах зачем эта ночь»... – робко подсказала Саша.
- Гм... Нет, вы лучше свои рассказывайте!
- Еще есть одна, «Трансваль», знаете?
- Нет.

Трансваль, Трансваль – страна моя,
Горишь ты вся в огне.
Под деревом развесистым
Задумчив бур сидит...

- Подождите, Дуня! Что такое «Трансваль»?
- Это так, зря, без внимания.
- Как без внимания?
- Почем я знаю! – Дуня переглядывается с подругой, и обе фыркают.
- А бур, кто же это такой?
- Насмехаетесь вы, я сказывать не стану...
- Совсем не насмехаюсь. Интересно только, как же вы это поете и не знаете что.

Надулась. С трудом успокоил ее и кое-как объяснил, что такое Трансвааль и бур, но на девушек это произвело так же мало впечатления, как авиация на Коровина. Я стал осторожнее и критических замечаний больше не высказывал.

Игнат вдруг заглянул в дверь и поманил меня. Я подошел.

- Чего вам?
- Вы им, барин, на полушалок дайте, они и не такие песни вам докажут...
- А какие же?
- Хи-хи! – Он весь сморщился и захихикал: – Веселые есть, убей бог!.. Они знают:

Дед и баба разговлялись:
Ели кашу с молоком...

Следующие две строки, которые он выдал из себя, захлебываясь от смеха, были совершенно неожиданны и нецензурны.

– Таких мне не надо...

– Не надо? Я думал, интересуетесь. Еще хотел вас спросить: пятак старинских не возьмете ль? Катерининские... У меня много!

– Откуда у вас?

– Да так, жена держит. От ломоты очень помогает, ежели воду с них пить. Да куды их столько? Я бы десяточек продал, она не узнает.

– Нет, не надо. А от ломоты вы бы лучше у доктора полечились, больница рядом. Вы сколько лет сторожем в школе?

– Шестнадцать.

– Грамотны?

– А то как же!

– Вот видите! А настойку на пятаках пьете.

Игнат озадачен:

– Что ж, что пью? Многие пьют... Так не возьмете?

– Нет, не возьму.

Возвращаюсь.

– Чего это он вас звал? – спрашивает Дуня.

– Так... Пятаки старые продать хотел.

– Купили?

– Нет, не купил.

– Куды их, старые-то! Новых бы поболее было.

– Что ж бы вы с ними делали, если б много было?

Дуня быстро переглядывается с Сашей.

– Смеетесь? С деньгами и дурак умный. В город бы уехала, вот что.

– Разве здесь плохо?

– Здесь... Чего здесь делать – вшей кормить, что ли? – грубо обрывает меня Дуня. – Замуж сбудут. Мужа на шахты, меня в хомут... Не видали, что ли, сколько здесь баб вроде монашек? Мужа нет, а с кем хошь за грош...

Саша еще ниже склоняется к станку и дергает Дуню за подол.

Пауза.

– Ну, что же, продиктуйте еще что-нибудь, – робко прошу я.

– Пишите:

Из-под дуба, из-под вяза,

Из-под липовых кореньев...

Из-под липовых кореньев

На мое ли разоренье...

Ах, какая песня! Но следующая была, как удар по уху, – шедевр армейско-базарной сентиментальности: об «ахвицерике молодом», который «ножкой топнул, ручкой хлопнул по белу Машу лицу». «Очень, стало быть, лихо хлопнул!» – восторженно объяснила Дуня. Записал еще и еще, и все прекрасные песни были деревенские, а все бессмысленные или хамские были городские, разве кроме «Коробушки» и еще одной, двух.

Так вот что поют они по вечерам, раскачивая нехитрые, но неуловимые мелодии с необыкновенной быстротой или тягуче и хрипло повышая их до пьяного крика... Я бы записал еще, но Игнат стал в дверях, расставив свои кривые ноги, потом пришел маляр, который

красил в школе крышу, и тоже застрял в дверях, заглянула в окно мимоидущая баба и завязла в нем с раскрытым ртом. Пришлось уйти, да и Дуня застыдилась и замолчала.

Я долго сидел на скамье у школы и перечитывал свои песни, скажу правду, не менее горячо, чем Верлена. Так вот как «они» чувствуют природу...

Ветер-ветерочек, ветер – тоненький голосочек...

А вы, милорд, жили бок о бок и думали...

– Здравствуй, милай!

Подымаю голову: ах, это сосед!

– Здравствуйте.

После того злополучного вечера он сегодня в первый раз со мной поздоровался.

– Ну, что, как порешили?

– Это насчет хуторов-то? – Сосед уныло плюет наземь. – Шут их знает! Не пожелали сперва, да член урезонил. Согласились... А теперь ходят, ругаются.

– А вы-то сами довольны?

– Мне что. Куда люди, туды и я.

– Как же так? Если все так будут говорить, то и схода не надо.

– Кто его знает, може, и не надо. С весны нам переселяться, пособие дадут – на много ль его хватит? Избы у нас все больше кирпичные, вот горе! Сруб перевезешь, а кирпич станешь разбирать – побьешь половину. Опять же овцы. На хуторах, брат, шабаш! Теперь самый бедный, как я, скажем, овцы три либо пять держит... Общество.

– А вы в хлеву держите, как... в Германии, – спотыкаюсь я.

– В хлеву... А кормить чем? Теперь, скажем, выгон да овраги...

– Клевер сейте, – авторитетно советую я, – семена земство даром дает. Чего лучше! Управляющий в экономии обходится без выгона.

– Обошелся! С этого самого клевера два теленка у него поколело, – злорадно сообщает он.

– Обожрались, может быть?

– Там с чего, это дело не наше, а клевер-то вот и оказался!

Увы, через триста лет будут помнить в селе только этих двух телят и не вспомнят ни об одном, кому этот клевер был питательней рыбьего жира.

– Ни к чему все это, барин... Вон после Харитона баба осталась. С похорон пришла, полведра купила, четверть на угощение, а другую четверть тут же гостям и продала. Нашла себе занятие, теперь живет... ничего. Так-то! – прибавляет он злобно, точно возражая кому-то, и отходит прочь.

Разворачиваю тетрадку. Прекрасные песни, о которых я только что думал, завяли: вижу слова, вижу строки. Пусто и темно... Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?

Доктор возвращается из больницы и машет мне рукой:

– Размышляете? Идемте ко мне чай пить!

Покорно встаю и иду за ним к низеньким желтым дверям его квартиры. У крайнего окна больницы с любопытством вытягивает шею мальчик с забинтованной головой.

– Не соскучились еще у нас?

– Нет, напротив... напротив.

– Когда уезжаете?

– Не знаю. Как поживется... Недели через две...

– А то на зиму бы остались... Снега тут у нас, тишина. Работать никто не помешает.

Я представляю себе эту прекрасную тишину и сдержанно отвечаю:

– Зимой не могу. У меня в городе дела.

– Только потому, что дела?

– Нет, не только потому, что дела. Не приспособлен.

– Приспособиться можно.

– Для чего? Я не врач, не ветеринар, не акушерка, не урядник и не помещик, следовательно...

– Следовательно, будем пить чай. Маша, самоварчик бы нам. Я сейчас, только руки умою.

Осматриваю комнату, хотя и знаю ее наизусть. Кусочек города – словно оазис какой-то. Все так знакомо и ценно, особенно здесь, где любое жилье как берлога. Резная этажерка с книгами, огромный диван, на стене Пирогов, группа врачей, на шкапу гипсовый «мальчик с занозой».

За стеклянной дверью старенькая терраса, густо переплетенные ветви яблонь и груш, пестреют маки, бегонии, ирисы... Ишь ты, на много лет устроился! Не чета моему саду.

Доктор вытирает руки и следит за мной глазами из соседней комнаты.

– Хорошо у вас, доктор.

– Ничего, жить можно. Устаешь иногда, это верно. Сегодня шестьдесят пять человек осмотрел залпом... разговоры при том всякие. Изнуряют. Они ведь как дети или, если угодно, как телята какие: разжуй и в рот положи. Не разжуешь, капли вместе со склянкой проглотит, потом, конечно, *ad patres*, – и шабаш. У всей деревни навек доверие к медицине подорвано. Вот хоть сегодня... Варвару Козыреву знаете? Старуху? Обратной стороной, надписью т. е., горчичник к животу приложила и удивляется, что не помогло! Думаете, не объяснял? Двадцать раз объяснял. Стара, глуха, головой кивает, разбери там, поняла она или нет. А не узнай я вовремя, смех на все село: бумажками лечит...

Доктор входит и начинает шагать по комнате.

– Школа! – Он махнул рукой в окно на двухэтажный веселенький дом. – «Птичку божию» изучают. Хоровое пение, токарные финтифлюшки и прочие деликатесы... Гигиены никакой. Сведений о том, что под носом, с чем они всю жизнь возятся, ни на грош. Акушерка в селе пятнадцать лет, поповская сестра, здесь же и выросла, – а они бабку зовут, когда рожать надо. Потом заражение, потому что бабка с грязными руками так и лезет! У учителя мать знахарка! Молодые вот к ней ходят, когда дети не рождаются. Холсты носят. Холсты эти она, видите ли, должна сжечь, – тогда дети будут. Иначе не будут-с. Холсты эти, госпожа, конечно, в сундук, а потом, если баба родит, – следовательно, помогло. Не то что наши горчичники. И ходят все ведь школьники бывшие, которые эту самую «Птичку божию» учили... Годам к двадцати «птички»-то эти повылетят. Лечит она тоже. Конкурирует... Коров вот лечит, а сама, когда у нее корова заболела, ха-ха, к ветеринару обратилась. Умная баба... Что ж вы чаю не пьете? Может быть, варенья?

– Нет, спасибо. Отчего же сын не повлияет?

– Парамон Николаевич? Очень она его послушает! От него и крестьяне нос воротят, потому что свой же, деревенский, хоть и в манишке. Давно ли с ребятами горох воровал, в ночное ездил, а теперь в шляпе, учитель, живет в комнате с обоями, сторож ему ботинки чистит. Они этого не любят. Да и ему не сладко! В прошлом году его какой-то мужик обложил по какому-то поводу...

– Как обложил?

– Выругал то есть; потом бедняга приходил советоваться, как ему быть. Чуть не плачет. Я посоветовал плюнуть, а он ни за что, за престиж свой, видите ли, испугался. Пожаловался в волостное управление, мужика на три дня в холодную. Теперь сам жалеет: кланяться они ему перестали. Только ради матери иной и поклонится, который рубля в срок не отдал...

Доктор искренен. Но чувствую, что все эти иллюстрации, главным образом, разворачиваются для меня. Я покорно слушаю и о горчичнике, и о холстах, смотрю на свое растянутое лицо в самоваре и вяло удивляюсь: почему люди ходят на руках, а не на ногах? Неужели бабы

не знают, отчего дети рождаются? Орангутанги и те, вероятно, знают! Смотрю на доктора и думаю: что, если предложить ему хорошее место в городе, уедет он или нет? Пожалуй, уедет. Ему ведь, собственно, лечить людей полагается, а он тут какой-то хронический подвиг совершает... Объясняет, чтоб склянок не ели... Из одного чувства самосохранения, кажется, не станешь есть... Чего объяснять еще?

Я томлюсь, перелистывая старые газеты, и, наконец, поднимаюсь. Доктору досадно, он только разошелся и еще многое бы продемонстрировал. При этом он пристально и сухо смотрел бы в мои зрачки, а я бы беспомощно слушал, хрустел под столом пальцами и думал, что он повторяет про себя: «Негодяй, негодяй»... Затем все это разрешилось бы, как в прошлый визит, знакомым припевом: город отвлекает от деревни все культурные силы. О доктор, доктор! Если бы вы знали, как мало этих культурных сил в городе, как невероятно мало... Там, правда, горчичников надписью к животу не прикладывают, но в обращении с мыслью, с идеями, с искусством, с детьми и т. д. – там это происходит сплошь и рядом, г-н доктор...

И еще, – господин доктор, забыл я вам сказать, да все равно возвращаться не стоит! У многих ваших пациентов, видите ли, сохранился неразменный рубль: странная такая уверенность, что после погребения для трупов наступает новая жизнь, несравненно интереснее земной. Так вот, таких пациентов, собственно, не очень жаль: о том, что никакой новой жизни не будет, они ведь так и не узнают, а здесь, на земле, они побогаче нас с вами, господин доктор. Чай внакладку и галстук не такое ведь большое утешение, когда знаешь, что окно твое выходит прямо... в черную дыру.

Долго стою в недоумении посреди зеленого квадрата выгона. Куда идти? В рощу или к пруду или просто по проезжей дороге в поля. Но глаза упали на желтый клин ржи у больничного сада, и вдруг вспомнилось, что сегодня начали косить заливной луг.

Жужжат колосья. Глубокий плавный такой шум, словно о точильные колеса тихо ножи точат. Посреди межи уцелели отдельные колосья, а местами целый ряд тянется, тянется и оборвется. Земля плотно убита, светло-серая, как слоновою кожей, – гудит под ногами и струится легким зигзагом куда-то в бездонную желтую глубину шипящего хлеба. Где доктор и его комната? Есть ли там за спиной село? Да, есть – обернулся и увидал. Но если смотреть вперед или под ноги, все обрывается. Над желтым краем ржи густое синее небо. Легкий ветер. Передо мной руки отклоняют колосья, во мне поют все скрипки жизни и тишины. Я темный тупой камень! Я сидел там на выгоне часто по целым дням, как привязанная собака, и до сих пор не знал, что можно ходить по меже. Я ходил по голым дорогам, глотал пыль из-под всех встречных телег и боком косился на переломанные, измазанные дегтем колосья у края дороги...

Колосья жужжат. Внизу у прохладных зеленых стеблей сквозят яркие васильки. Я иду все медленнее, я не знаю, что мне делать, так мощно приливает к глазам синий и желтый океан неба и ржаных полей. Межа оборвалась к зеленому скату лога. По гребню там и сям группы пышных берез свесили длинные светло-зеленые ленты. Пасутся пестрые коровы. Прибавляю шаг и из-за поворота уже слышу: жах-жах, жах-жах. Косят.

Раскрылся широкий прибрежный луг. Телеги с поднятыми оглоблями сбились в кучу. По всему лугу длинные ряды посеревшей скошенной травы и длинные ряды белых рубах косарей. Первый из ближайшего ряда останавливается, вытирает рукавом лицо и широко улыбается.

– Здравствуйте.

– Здравствуй. Поглядеть пришел?

– Да, интересно.

– Ну что ж, погляди, погляди.

Подошел второй, третий и другие, кто поближе. Тяжело дышат, вспотели, иные совсем измучены.

– Устали?

– Помахай так с зари, небось устанешь!

– Пить – смерть хочется, – прибавляет другой.

– Отчего же вы квасу не взяли?

– Кувшин взял, да выпил. Много ли в нем, в кувшине-то?

Молчу и думаю, что, если б это я был на его месте, я бы взял квасу столько, чтобы хватило на весь день. Или если не квасу, то воды – благо, река близко: зарыл бы кувшин в землю ипил сколько надо. Деды и прадеды косили, тысячелетний опыт за плечами, и страдают от жажды, точно здесь Сахара какая-нибудь.

– Ты что ж, барин, смотреть пришел? Покосил бы! – обращается ко мне с улыбочкой рыжий низенький мужик. Плотный такой мужик, – между плечами у него, пожалуй, весь его рост уложился бы.

– Да я никогда косы в руках не держал, – извиняюсь я и с ужасом оглядываюсь.

Остальные, как заговорщики, тесно обступили меня, рыжий мужик пошаркал по косе брусом, вложил мне ее в руки – и все загалдели:

– Не держал, так поддержи!

– И я, как впервой косил, допрежь того в руки не брал!

– Леву руку к грудям приверни, а правой вот так!..

– Филимон, покажь им, как ворочать-то!

Огромный бородатый Филимон берет меня в охапку, кладет на мои руки свои и начинает плавно и сильно вертеть мной и косой, так что мое тело вдруг превращается в рукоятку.

– По самому низу пушай, не тяни на себя, по низу, по низу!

Когда он отпускает меня, наконец я, к глубочайшему своему удивлению и к полному удовольствию мужиков, продолжаю разворачиваться, как заведенная пружина, и повторяю те же движения до тех пор, пока острие косы не врезается в землю. Вот что делает иногда самолюбие!

Я тяжело дышу. От телег примчались с гиканьем мальчишки, но их ожидало разочарование: человек в пиджаке не полетел кубарем в траву, не срезал себе косой подметок и не сломал косы.

– Здорово! – поощрил меня рыжий мужик. – Этак к вечеру лучше нас косить станешь.

«Как же, стану я тебе косить», – огрызаюсь я про себя. От десяти взмахов и то сердце в глотку полезло...

Подходит лавочник (он тоже сегодня с косой) и протягивает руку, – один из всех. Все-таки, так сказать, свой человек, как же не обменяться рукопожатием!

– Не скучаете у нас?

Опять о том же...

– Нет, не скучаю.

– Скоро в Питербург? – с особенным удовольствием подчеркивает он «Питербург».

– Не знаю еще.

– Хороший город. Года три в нем пожил. Шестнадцатая линия на Васильевском острову, дом купца Дроздова. Может, знаете?

Хочется сделать ему удовольствие и сказать, что знаю, но избираю средний путь и молчу.

– Я думаю, что другого такого города и на свете нет! Домá, например: глазом не окинешь. В дроздовском доме, чай, больше народу жило, чем у нас в селе.

– Что же в этом хорошего?

– Как же можно. Кипение жизни, опять же торговля, в каждом доме своя лавка, улицы мощены, водопровод...

Рыжий мужик не выдерживает и ввязывается:

– Знамо, столица! У меня вон брат тама в дворниках служит, письмо прислал: очень уж хвалит.

– Еще б не хвалил, дворникам житье...

– Вы бы поехали, если бы вам найти место дворника? – спрашиваю я того, который сказал, что «дворникам житье»...

– Чего? Найди, друг, пудову свечу за тебя поставлю!

Мужики хохочут:

– Поставит, это он верно сказал. Кто не поставит!

– Да ведь у вас хозяйство. Две коровы, лошадь...

– Шут в ем, в хозяйстве. Бьешься, бьешься, окромя хлеба, ничего. Жизни не видишь.

Так, так. Вы не совсем правы, господин доктор. Оказывается, что стремятся из деревни не только те, кто пиджак носит. Есть, стало быть, и метафизические причины. «Жизни не видишь» – гм... А ведь это мои слова. Да, мои слова, только не о деревне, а... о городе.

Косари переминаются и что-то шепчут.

– За науку с тебя четвертинку следовало б, – вдруг решительно выступает безусый Данилов.

– За какую науку?

– Забыл, барин? Филимон-то тебя учил аль нет?

– Поднесли б мужичкам, ваша милость, – почтительно поддерживает другой. – С устатку по баночке... хорошо б!

«Моя милость» озадачена. Пить водку в жару, в разгар работы...

Растерянно опускаю руку в карман и с радостью не ощущаю в нем ни гроша. Пусть хоть случай выручит.

– Денег с собой я не взял, извините... – Я краснею и хочу отойти, но рыжий мужик находчив:

– Мы и без денег, за ваше здоровье. Иван Михайлыч, – тычет он в лавочника, – вам поверит, два рублика только. Вон Мишка за вином и съездит.

Мишка высовывается и выражает своей фигурой полную готовность съездить хоть на край света.

– Что ж... Пусть съездит.

Меня провожает сочувственный гул и радостные торжественные восклицания. Чувствую всем нутром, что в эту минуту я приобрел в их глазах больше уважения, любви и преданности, чем всем своим упорным осторожным вниканием во все мелочи их жизни за все эти недели. Лед сломан...

Отхожу, волоча ноги по жесткой щетине скошенного бурьяна. Среди оголенного луга, как острова, там и здесь подымаются красно-бурые метелки конского щавеля, за спиной с удвоенной энергией лихо запели косы: жах-жах, жах-жах.

Вот и безлюдный овраг, но наперерез от телег мчится с криком мальчик, зажав что-то в руках.

– Чего тебе?

– Перепела купи. Батя косил, а он в траве запутлялся, купи! Жирнбй, ногу только ему одну косою отчекрыжило. Тебе ведь есть все равно... – И он протягивает ко мне птицу.

Я отворачиваюсь, закрываю лицо руками и, ни слова не говоря, бегу изо всех сил по низу оврага, бегу до тех пор, пока бешеная одышка не бросает меня на землю. За мной никого...

Когда я подходил к селу, весь запад был залит прозрачным бронзовым румянцем. Облака по краям наливались золотом, легкий ветер перекачивал ржаные волны, и они шуршали так сдержанно и тихо, словно сами себя укачивали. А что, если там за краем поля... Эдем?

Нет, не Эдем. Когда поле окончилось, открылся угол выгона, собака на цепи у чайной и урядник на ступеньке, школа и за колодцем моя резиденция.

Не входя в комнату, прошел через сени в «сад». Бобы взобрались уже по веревкам выше дверей, встретились над ними и перевились легкой зеленой гирляндой. На красных кирпичках

очень мило. Подсолнечник по плечо – скоро раскроется. Прибежали цыплята. Большие такие – противно смотреть. Куриное мясо!.. Иду за водой, кое-как поливаю грядки и клумбу. Циннии распустились, но что толку: цветы как бумажные и не пахнут.

В комнате еще хуже. Душно. Мухи засидели занавески, красавицу из «Jugend», Толстого. В тарелке с формалином целая куча дохлых. Другие еще вяло летают, ползают по полу и трещат под ногами. Темнеет. Зажигаю лампу, ставлю самовар, ложусь на скамью и холодно рассматриваю потолок.

Я не понимаю, отчего люди не умеют жить! Исторические причины, экономические причины, – очень хорошо. Но не только же в них дело. Отчего бьют детей? Каталог общих мест подсказывает: от некультурности и тяготы жизни. Так-с. Отчего же у башкир не бьют? Та же некультурность, та же тягота. Не бьют же – сам видел. Отчего коровинская свекровь запрещает невестке писать письма мужу-шахтеру? От некультурности? Разве человек – тигр, которого культура должна сделать вегетарианцем? Пусть тогда остается лучше тигром, будь он проклят! Разве не всегда, когда человек упадет в воду, – культурные бегают по берегу, охают и падают в обморок, а некультурные снимают портки и бросаются в воду, даже если не умеют плавать? Или есть дьявол и ангел некультурности, и оба квартируют в одном человеке? Должно быть, есть...

Я замираю от тоски, как перепел с отрезанной ногой, от которого я убежал, и встаю, потому что самовар на кухне плюется и шипит. Тоска тоской, а чай надо пить каждый вечер.

Кто-то осторожно стучит в окно.

– Можно к вам?

– Конечно, конечно, как раз к самовару поспели...

Учитель. Ну, что ж, и то слава богу! В иной вечер и камергеру обрадуешься.

Странный человек: манишка, воротничок, манжеты с какими-то безнадежно скучными запонками, плоский галстук, похожий на высушенную летучую мышь, коричневый костюмчик в клеточку, черная шляпа и палка с бронзовой собакой, а над всем этим великолепием обыкновеннейшее крестьянское курносое лицо, обрамленное желтым пухом, который торчит откуда-то из-под воротника.

Первым долгом, конечно, отдал дань культуре: подошел к полке и в сотый раз пересмотрел знакомые корешки. Потом обошел картинки.

– Интересно сделано.

– Что?

– Рамочка.

– Что в ней интересного? Бумага под дуб, наклеена на картон. Если б дубовая была – другое дело.

– Дубовая – не штука. Потому и интересно, что так натурально сделана.

Молчу.

– Книжку вашу не кончил. Завтра принесу. Не к спеху ведь вам?

– Не к спеху. Понравилась?

– Занимательно. Репортер-то какой ловкий: книгу Моисея протелеграфировал. Догадался.

Он стал мне рассказывать своими словами, местами с мельчайшими подробностями, содержание «Духовной жизни Америки» Гамсуна. Рассказывал так же точно и подробно, как в прошлый раз содержание какой-то повести в последних книжках «Нивы», так же точно и подробно, как он рассказывал о прошлогодней поездке с экскурсией учителей в Египет: где какие гавани, как кормили и какую он купил феску. Воображаю его в феске! Я знаю также, что, если спросить его о нем самом, он так же подробно и точно расскажет, когда родился, где учился, сколько у него учеников в школе, сколько девочек и мальчиков, как он преподает хоровое пение и прочее.

Наливаю ему чай и, чтобы оттащить его как-нибудь от Гамсуна, спрашиваю:

– Не знаете, Парамон Николаевич, почему урядник до сих пор моего паспорта не спрашивает?

– Боится, должно быть...

– Боится? Чего же ему бояться? Бог с вами!

– Случай, видите, был такой. Зимой как-то под вечер прискакали в село охотники, устроились на ночлег кто куда, а главный охотник какое-то высокопоставленное лицо был – граф или князь. Ваша изба тогда пустая стояла, он в ней и устроился. Вытопить приказал и сена принести. Дама с ним какая-то еще была. Кто такой – никому не известно. Тимохинскую избу приказал очистить: собак туда поместили. Урядник тогда был другой, его после той истории и турнули. Пришел, спрашивает паспорт. Граф-то этот, или кто он был, его выгнал. Урядник в амбицию вломился, стал требовать на законном основании, да тот ему никакого паспорта не дал и дверь запер. Утром укатили, куда – никому не известно, а через три дня от исправника бумага, чтобы урядника вон. Так никто и не знает, кто был и откуда. Новый, должно быть, и боится теперь.

Слушаю эту невероятную историю и смеюсь:

– Так-так... Так что, может быть, Парамон Николаевич, перед вами сидит теперь испанский посланник или какой-нибудь ревизующий сенатор.

– Почему?

Ах, чтоб тебя! Извольте объяснять, почему. Пошутил, пошутил. Конечно, не испанский посланник и не сенатор. Иван Иванович Иванов, дачник из Петербурга, могу даже паспорт показать.

Пьем чай и молчим.

– Скажите, Парамон Николаевич, большие у вас каникулы?

– Четыре с половиной месяца...

– Школа у вас летом свободна, вы свободны. Посторонних привлечь можно, меня, например, и поповских племянниц. Отчего бы не устроить в школе детский сад, что ли? Для самых маленьких. Песням их обучать, играм разным, картины показывать, – у вас в шкапах много. Они ведь летом дуреют прямо без призора, ревут по целым дням, колотят друг друга, грязны до омерзения...

Парамон Николаевич озадачен и думает.

– Нет, это невозможно. Инспектор не разрешит.

– Детских игр не разрешит? Что вы? Черт с ним, можно ведь и не в школе, в сарае каком-нибудь, в роще, мало ли где. Лето ведь – не замерзнут.

– Не знаю. Времени много отымет, – вяло возражает Парамон Николаевич.

– Какое там время! Сами же говорили, что в иной день от скуки до вечера проспите. С ними другой раз три часа провозишься и не заметишь, словно минута.

– Не знаю, не знаю... Сами они играют, чего еще с ними играть...

Пьем чай и молчим. Рассматриваю его сбоку и постепенно накаляюсь. Какая-то принципиальная бездарность! Мало того – не только сам бездарен, но и все, чего он ни коснется, становится бездарным и скучным, как квасная гуща, – Гамсун, Египет и проч. Словно это не чудеса, а тоже какие-то манжеты и палки с собачьими набалдашниками, служащие для отличия культурного человека от некультурного. Напялил манишку, да еще летом... Кто ее теперь в городе носит? Почему он удивляется, что я не читал последних книжек «Нивы»? Отстал, мой дорогой, ничего не поделаешь, да и не мое это дело: ведь книжки эти специально для вас предназначены, специально для собачьих набалдашников.

Я почти задыхаюсь от бешенства и смотрю на бороду Парамона Николаевича так пламенно, словно он мой личный враг. Парамон Николаевич поднимает глаза и вдруг улыбается

такой доброй, простодушной улыбкой, словно я в эту минуту самый приятный для него человек на свете.

Мне стыдно и больно.

– Пойду я. – Парамон Николаевич подымается. – Книжку завтра занесу непременно.

– Хорошо. Вы бы еще посидели?

– Нет, мне пора. До свиданья.

– До свиданья.

Ушел. Что делать, что делать... Не в иконостас же его вставлять только потому, что он народный учитель. Улыбнулся он – что ж? Может быть, это у него вроде отрыжки. Отрыжка благодушия.

Небо за занавеской совсем потемнело. Мимо крыльца возвращаются с покоса телеги, нагруженные сеном, и скрипят. Я не выхожу. Сегодня, пожалуй, все кланяться будут.

У соседей переполох. Визгливый женский голос с надрывом орет:

– Серега, вонцы в картохи побегли!

В голове кто-то отчетливо произносит: «О, великий русский язык». Я усмехаюсь, беру том Киплинга и ложусь в постель. Через минуту я уже в Индии и только к самому рассвету возвращаюсь оттуда и засыпаю как убитый.

* * *

Вспоминать ли о других днях? Все как один. В полях Эдем, в роще Эдем и у стога сена и всюду, где небо, земля и никого вокруг. Но встретишь людей, и опять темные, запутанные узлы, мое «да» – их «нет», их «нет» – мое «да»...

Звенит колокольчик. Ржавая старая таратайка скрежещет и накреняется то вправо, то влево. У одного лавочника только и нашелся такой прекрасный экипаж. Работник сидит боком на передней скамейке, курит и лениво подстегивает снизу пристяжную, которая все норовит проволочить постромки по земле. У края дороги пропыленный чахлый подорожник и сероголубой цикорий. Рожь сжата. Поперек жнивья над межей болтаются длинные ряды белой полыни. Красная крыша школы долго еще маячит над дальними верхушками лип. Но вот и она пропала. Нет больше села. Нет больше клумбы с геранью, бобов на красной кирпичной стене, выбеленной комнаты с бревнами вдоль потолка и с привычно устоявшимися вещами, нет больше знакомых детей, школы, верстака, Коровина и всего, что наполняло там жизнь... И не сегодня все это исчезло: в последние дни перед глазами словно мутное стекло встало, и выгон, и Шарик, и ночная колотушка – все стало призрачным и, как во сне, едва касалось глаз и слуха. Работник, пара лошадей и таратайка – еще реальны, но мы уже равнодушны друг к другу. Довезут и свалят, как случайную кладь...

Пока еще все притаилось и дремлет. Простор разбежался, колокольчик звенит, сухая полынь желанней пальмы, людей нет. Земля опять благословенна. В овраге и пашен не видно, медленно раскрываются волнистые зеленые бока, сережки бересклета бьют по лицу. Разве не радостно небо – синяя сияющая полоса над головой? Разве не волен ветер за плечами? Не нежен шум берез у перекрестка? Или это мои глаза радостны, дух волен и мечта нежна? А небо, ветер и березы мертвы, как льды у полюса? Не мертвы, потому что во мне тьма и боль, – не от меня сиянье, не от меня воля... Все притаилось и дремлет, но в городе все эти дни встанут, как нищие у порога, и никакой красотой от них не отмахнешься. Никакими спорами... О чем спорить? Здесь не услышат. А если и услышат, так не поймут.

Отчего там, в селе, так часто – подойдешь к человеку, а он прежде слов тебе улыбнется? Там странные бывают улыбки... Человеку оторвало на молотилке пальцы, а он зажал руку в шапку, идет в больницу и улыбается. А я даже смотреть не мог, словно смотреть больнее, чем так улыбаться... Отчего они ломают ракиты у дорог и потом зимой в метель сбиваются с пути

и гибнут? Отчего сосед пришел ко мне за советом, когда у его лошади лопнуло копыто? Ветеринар в полуверсте, я не ветеринар, отчего он пришел ко мне? Отчего мне было так стыдно, когда я не мог ничего ему сказать? Я, который так много знаю о грушах в Германии, о зеленых ставнях...

Клубы пыли поднимаются из-под копыт и медленно уплывают в сторону. Кто спорит во мне и о чем? Я видел ясное небо, заросшие бурьяном пустыри у нищенских домов, прекрасную землю до края неба, – не песок, не серые камни, прекрасную черную землю, – и на этой земле полунищих людей. Я видел детей, покрытых коростой грязи, одетых в рваные тряпки, которыми у нас даже пыли вытирать бы не стали, – а кругом все огороды были полны конопли, сундуки замашным холстом и в пруде воды, сколько хочешь... Я слышал, как мужики, когда я прочел им из газеты первые вести о голоде в соседней губернии, прежде всего обрадовались, что цена на рожь будет высокая... Отчего все это? В редакциях толстых журналов, конечно, знают, и я когда-то в городе знал, но сейчас забыл.

Хочу вспомнить, но поля не отпускают. Пустые, безлюдные, ни хлебов, ни трав, – они плавно уходят к небу и наполняют сознание силой и строгой ясностью. Оголенная земля еще свежее, еще просторнее, чем летом. Ветер свистит, пыль гнется. Отчего не сорвет меня с тарантаса и не понесет по пустым полям, как клоч соломы? Выдул бы из души все, что набилось в нее со всех сторон, – все чужое, безголовое, дикое, чего не понять, а поймешь – все равно не поможешь. Нет, здесь ничего не вспомнишь... Пустые поля, ветер и небо так свободны, что ни за что не поверишь, ни за что не поверишь, что те, кто с ними всю жизнь, так бедны и беспомощны...

Я качаюсь из стороны в сторону. Я представляю себе, что я получил наследство и купил кинематограф, подобрал самые веселые и интересные картины. Карнавал в Мадриде... Ловля диких слонов... Мюнхенская пивная, где баварские крестьяне изображают перед местной интеллигенцией национальные танцы... Я достаю разрешение и объезжаю деревню за деревней, село за селом... И куда я ни приезжаю, дети, бабы, мужики и даже самые древние старухи захлебываются от радости... Я собираю копейки, бесчисленное множество копеек, а у кого нет копеек, тот дает шапку зерна – и потом все эти копейки и зерно везу туда, где голод...

Толчок на ухабе. Я прихожу в себя. Глупости: диких слонов не разрешат, а если и разрешат, то копейки и хлеб отберут и найдут им место. Работник хлещет лошадей. Въезжаем на бугор. Справа от дороги белеет острог, а за железнодорожным мостом засияли купола: шесть, семь, девять, двенадцать. Слава богу, приехали в культурное место! Лихо пронеслись по городу и через несколько минут остановились у станционного подъезда...

Друг

I

Началось до смешного просто. В один из слякотных петербургских дней Василий Николаевич Попов вернулся с уроков домой и нашел на столе рядом с прибором письмо. Этаким галантный сиреневый конверт в крупную клетку, залихватский почерк, полностью выписанный и подчеркнутый титул:

«Его Высокоблагородию

г-ну такому-то», – а на обороте зеленая печать с коронкой и выкрутасами.

Перепиской Василий Николаевич себя не обременял, знакомых писарей не имел. От кого бы? Штемпель был тамбовский, но мысль о Тамбове ничего, кроме смутных образов тамбовских окороков, не вызвала. Попов неторопливо распорол зубочисткой толстый конверт, прочел, удивленно хмыкнул и позвал сестру, которая возилась на кухне с жарким.

– Нина, поди-ка сюда!..

– Сейчас несую!..

– Да нет! Я про письмо.

Нина Николаевна простучала каблучками по коридору, внесла на сковородке еще ворчавшую свиную котлету, поставила ее перед братом и села напротив него, деловито облокотившись:

– Ну?

– Угадай, от кого.

– Прекрасный пол? – Она подразнила, но видно было, что ни на секунду не верит тому, что сказала.

– Нет... Какое... От Петухова. Помнишь?

– От какого Петухова?

– Боже мой, товарищ по гимназии. Толстый такой, блондин...

– Не помню. Ну, так что же?

– Да вот. Переезжает в Петербург. По этому поводу вспомнил о моем существовании, выражает уверенность и прочее. На «ты». Все, как следует.

– Ты что же? Дружил с ним?

– Почти. Водку пил, банчок. Давал ему списывать. Да, дружил! – вдруг радостно вспомнил Василий Николаевич. – Рыбу ловили, как же, раков. За Катюшей Кривенко вместе ухаживали, только обоим был нос: Шильский-бродяга перебил, красивый был, мундир такой шикарный... Куда нам!.. Фу, как давно было – точно триста лет назад. (Василию Николаевичу шел тридцать первый год.)

Он мечтательно отправил в рот приставшую к краю тарелки картофелинку и вздохнул.

– Гм... Что ж ты, Васюк, с ним будешь делать? – озабоченно спросила Нина. – Он, пожалуй, так со всеми потрохами к нам и ввалится.

Она представила себе их три чистенькие комнатки и постороннего полного человека: непременно курит, все трогает руками, валяется целыми днями на новом диване и съедает один весь их обед.

– Нет, зачем же... – нерешительно протянул Василий Николаевич. – Он пишет, что в пятницу вечером будет у нас. Увидит сам, что здесь негде. Да и церемониться с ним нечего.

Нина Николаевна пожалала плечами и пошла за киселем, а Василий Николаевич лениво поднялся с места, достал с комода альбом с полуотвалившимся жестяным рыцарем и после долгого перелистывания разыскал среди полувыцветших, похожих друг на друга коллег-вось-

микласников, Петухова. Лицо как лицо, помотришь – ни тепло, ни холодно, – отвернешься – забудешь. «Лапша», – подумал Василий Николаевич и, вытащив карточку, перевернул ее:

«Жизнь прожить – не поле перейти». – «Милому и дорогому другу В. Попову от любящего его друга Димитрия Петухова».

– Гениально! – усмехнулся Василий Николаевич. – Другу от друга. Как же! – Он вставил карточку на место, медленно разорвал письмо и принялся за кисель.

II

Вечером в пятницу к Василию Николаевичу ввалился рыхлый, улыбающийся блондин в котелке, круглорожий, с жиденькими китайскими усами и почти без глаз, – наполнил всю квартиру наглым запахом дешевого «Шипра» и вспотевшей лошади, сбросил с себя на сундук нелепое пальто с серыми бараными обшлагами и воротником и шумно полез целоваться. Это и был Петухов.

Василий Николаевич поцеловался, тщательно подбирая губы (черт его знает, здоров ли?), познакомил его с выпорхнувшей из коридора сестрой и повел гостя к себе в кабинет к дивану. Сели. Василий Николаевич не знал, как начать – на «ты» или на «вы»? Но Петухов затараторил сам:

– А ну-ка, покажись, Базиль! Сколько лет, сколько зим... Да ты, брат, молодцом, все такой же. Полысел только, хо-хо, здорово полысел. Как живешь? А? Ну, рассказывай, рассказывай!

«Болван!» – коротко разъяснила про себя Нина Николаевна нового знакомого, но вспомнила, что он пришел без чемоданов, и, приветливо рассматривая простенок, спросила:

– Чаю хотите?

– Не вредно! Не откажусь. Не откажусь...

Василий Николаевич остался наедине с гостем и, недоумевая, начал «рассказывать»:

– Да вот, существую. Холост. Живем с сестрой, работаем, – я в коммерческом литературу преподаю, сестра в городском училище подвизается... Много читаю... Театр. – Он остановился и, слегка отклонившись от слишком шумного дыхания друга, подумал: «Что я ему расскажу? Вот чудак!»

Но вспомнил испытанный рецепт и обрадовался:

– Что я?... Ты лучше про себя Расскажи, Димитрий... Петрович.

– Степанович... ха-ха... забыл?

Упрашивать не пришлось. О себе Петухов всегда охотно распространялся, а здесь, где никто его не знал, было особенно просторно. Он живописно откинулся к спинке дивана и, широко обнаружив все великолепие тонов своего уездного жилета, взял Василия Николаевича за цепочку.

– Всяко бывало. Был и на коне, был и под конем... Ты здесь в качестве невского аборигена и понятия не можешь иметь! Среда, конечно, того, – со всячинкой, но женщины – какие женщины! Только ради них со всем примиряешься. И не какое-нибудь курсье, – разговоры, морально и принципиально, с точки зрения вашего позволения, Вейнингеры и все такое... Гиль!.. Все по природе, – лови сей миг и благословляй судьбу.

– Ловил? – недоверчиво спросил Василий Николаевич, незаметно освобождая цепочку.

– А ты как полагаешь? Пальца, брат, в рот не клади. Ах, милый, представь себе ярко: вокруг хамье, с десяти до четырех торчишь в присутствии, «принимаешь во внимание» да «присовокупляешь при сем», мзда сто целковых в месяц, ни сантима доходов, вечером собрание, ночью рижский бальзам, преферанс и никаких гвоздей – и вдруг среди всей этой тундры пышные цветы любви, страсти и неги... И какие цветы! Ты, брат, не ухажер, не поймешь.

Петухов сжал потной, горячей рукой равнодушную ладонь Василия Николаевича, шумно вздохнул и, явно привирая, принялся рассказывать отдельные случаи из своей ухажерской практики.

Василий Николаевич сидел и слушал, – губы улыбались сами по себе, в глазах сонно перебегали искры ленивой насмешливости, но недоумение все росло. Он не мог отрешиться от странного ощущения: ему казалось все время, что рядом с ним сидит не Петухов, тот самый Петухов, с которым он когда-то играл на гимназическом дворе в чехарду, – а какой-то средний пассажир российского трамвая, самое загадочное и постороннее существо на свете, и, торопясь, раскрывает перед ним свои самодовольные идиотские недра. Резал глаза нелепый большой университетский знак на сером пиджаке, удивляли давно забытые словесные фиоритуры. Мало-помалу становилось скучно.

– Чай пить! – мрачно позвала Нина Николаевна из столовой.

За столом друг опять начал о себе, томно адресуясь главным образом к Нине Николаевне, на фигуру которой он облизнулся еще в передней.

– Как у вас уютно! Сразу чувствуешь женскую руку... Прекрасную женскую руку, одухотворяющую, так сказать, все, к чему она ни прикоснется. Н-да. Мы вот спорили с вашим братом о любви (Василий Николаевич удивленно поднял глаза)... Я убежден, Нина Николаевна, что вы будете на моей стороне. «Но нет любви, и дни ползут, как дым»... Не правда ли?

Петухов необыкновенно осторожно прикоснулся носком сапога к ботинку Нины Николаевны, но встретил в ответ такой изумленный и брезгливый взгляд, что поспешил убрать ноги под стул.

– Вам крепкий или средний?

– Кре... Средний. Мерси! Вы позволите?

Он шелкнул серебряным портсигаром, испещренным уменьшительными именами жертв своей неги и страсти, и закурил, не дожидаясь ответа.

– Что ж так сидеть? А, господа? Двинем куда-нибудь ознаменовать встречу... Какой здесь кабачец пошикарнее, Базиль?

– Право, не знаю. Да и не стоит. Я устал, а сестра не любит.

– Пуркуа? Можно вызвать автомобиль, заказать кабинет... Кутить так кутить. Ставлю на баллотировку! Только, чур, условие – я угощаю...

– Нет, брось. Спасибо... Ты зачем, собственно, в Петербург приехал? – перевел разговор Василий Николаевич, рассматривая с легкой тоской лоснящееся лицо сидящего против него постороннего человека, тянувшего в себя со свистом чай.

– Зачем приехал? Друг мой!.. Я, как тебе отчасти известно, с пятого класса, т. е. слава богу, семнадцать лет служу музам. И, увы, как тебе безусловно известно, меня за пределами Тамбова и его уезда ни одна собака не знает. Питер – центр: сто редакций, тысячи рецензентов, десять тысяч комбинаций. Компренэ?

Петухов хитро подмигнул другу, погрузил свою ложечку в вазочку с вареньем и отправил ее к себе в рот.

– Ах, вот что? – улыбнулся Василий Николаевич. Он вспомнил, что действительно, когда-то, бесконечно давно, Петухов писал сонеты, другой его друг, Ника Плющик, увеличивал *cartes postales*, а сам Василий Николаевич очень художественно выпиливал рамки. – Служили музам...

– Ты, кажется, удивлен? – Лицо неожиданного Петрарки исполнилось снисходительной иронии. – Впрочем, кое-что со мной. – Он бережно прикоснулся пальцем к боковому карману, торопливо допил чай и привычным движением вывалил на стол грязную пачку завихрившихся газетных вырезок и листочков.

– Вот.

Нина и брат переглянулись. Что ж? Пусть хоть балаган... Но балагана не было. Было просто невыносимо скучно и противно. Точно средняя овца, кое-как прожевавшая полфунта страниц из Апухтина, Надсона и Лохвицкой, обрела вдруг дар тусклого, обесцвеченного, плоского слова и заблеяла на одной ноте:

На заре моей жизни унылой
Счастье вдруг посетило меня:
Получил я блаженство от милой,
Горячо полюбил я тебя...
Не страшны мне страданье и горе,
Не боюсь я людей клеветы,
Так как счастья светлого море
Подарила мне, милая, ты!

Дальше шли: желанья-свиданья, грезы-розы, сидели-трели и т. д., до одуренья...

Долго читал, одно за другим. Минут двадцать – не меньше. Но Василию Николаевичу показалось, что часа четыре, а Нине – что с прошлой пятницы.

Когда он наконец замолчал и победоносно насторожил уши, привыкшие к добродушным и увесистым уездным комплиментам, в комнате наступила неловкая тишина.

– Здорово! – сказал наконец Василий Николаевич, избегая взгляда сестры. – Ишь, сколько ты, брат, накатал...

Нина ничего не сказала. В упор уставилась на поэта и еще раз едко подумала: «Болван».

Она встала, не предложив второго стакана, ушла к себе в комнату и там, не зажигая огня, села в угол к окну. «Осел! Как он смел лезть своими ногами! Тоже поэт... Удивительно, как таких олухов печатают. Приехал в Петербург. Как же! Тут тебе покажут. Будьте покойны...»

Эта мысль ее несколько успокоила, но наглый табачный дым, потянувшийся из-под двери, и вновь заскрипевшее в ушах самодовольное блеяние Петухова пробудили едва преодолимое желание распахнуть дверь и крикнуть: «Эй вы, животное, убирайтесь отсюда вон!» Нельзя... Она порывисто поднялась с места и, бессильно усмехаясь, ушла на кухню.

Василий Николаевич должен был страдать один. Человек из трамвая прочел еще дюжины две листочков – стихотворения в прозе, новеллы, баллады и все такое. Прочел две тщательно подклеенные на толстой бумаге рецензии о каких-то своих «Искрах души»: «Приветствуя молодое дарование нашего даровитого местного поэта, горячо рекомендуем его вниманию наших читателей...» На часах пробило половину двенадцатого.

– Я тебя не стесню, Базиль, если переночую, а? А то далеко, брат, переть.

– Нет-нет, пожалуйста, – с тоскливым радушием пробормотал Базиль.

Другу постелили на диване, простыню Нина Николаевна дала самую старую, подушку самую жесткую, ящики комода выдвигала так, что стены тряслись. Но увы, друг ничего не заметил.

Василий Николаевич сделал вид, что ложится рано, но эта невинная хитрость не помогла. Друг разделся, лег и, блестя во тьме непотухающей папиросой, перешел к анекдотам. Анекдоты были вроде фотографий парижского жанра – до тошноты циничные, нелепые и грубые. Надо было оборвать, но хозяин не решился и попросил только, чтобы потише, а то сестра услышит...

К двум часам Петухов заговорил о гимназии. Василий Николаевич несколько оживился и тоже вспомнил два-три выброшенных из памяти за ненужностью случая. Около трех часов, после продолжительной паузы, друг наконец спросил:

– Слушай, Базиль...

– А?

– У тебя нет в Питере подходящих знакомств?

- Каких?
- Литературных... Ты ведь всюду вращаешься...
- Нет, – злорадно ответил Василий Николаевич, натягивая на глаза одеяло.
- А у Нины Николаевны?
- Нет.
- Гм... – гость вздохнул и потушил папиросу.
- А у твоих знакомых?
- Нет! – еще злораднее ответил Василий Николаевич.
- Так-с... Ну, спокойной ночи.
- Приятных сновидений. – Василий Николаевич язвительно улыбнулся под одеялом и через минуту уснул.

III

Прошло две недели. Брат и сестра сидели после обеда за столом и, с привычным уже для них сладострастием злобы, говорили о друге.

– Это дико, Васька! Мы проходим через сотню измов, спорим о судьбах мира, свысока смотрим на обывателя, считаем себя внутренне свободными, гордимся этим, верим только своему чувству выбора, уму и вкусу, и вдруг первый встречный хам делает из нас половик для вытирания своих идиотских ног... Влезает с улицы в дом, невыносимо оскорбляет изо дня в день глаза, уши... обоняние, – Нина вспомнила ужасный «Шипр» и окурки на всех столах, – и мы ничего не в состоянии сделать... Гадость!

– Но что же с ним делать? – раздраженно спросил Василий Николаевич.

– Выгнать!

– Ах, Нина... Не могу же я. Ведь это все-таки не кошка, забежавшая с черного хода.

– Хуже... Если ты не можешь, я могу.

– Как? – Василий Николаевич с тревожной надеждой посмотрел на сестру.

– Очень просто. Напишу письмо: милостивый государь, брат мой человек деликатный и рохля. У вас с ним решительно ничего общего нет, мне лично вы противны. Вы человек бездарный, навязчивый, некультурный, ничего не делающий и потому не щадящий чужого времени...

– Курящий... – подсказал Василий Николаевич.

– Ты вот смеешься, а я напишу. Ей-богу, напишу!

– Не напишешь, Нина. Нельзя.

– Почему нельзя? Если этот болван сам не понимает, шляется каждый вечер, не замечает, что его едва выносят, читает все письма у тебя на столе, засыпает пеплом твою работу, остается ночевать даже тогда, когда ты говоришь, что ты нездоров, – как с ним можно поступить иначе?

– И все-таки нельзя.

– Почему?! – Нина готова была заплакать от злости.

– Потому. Разве он виноват, что он такой? Зачем оскорблять напрасно человека...

– А я виновата, что он такой? Или ты виноват?.. А нас он не оскорбляет? Значит, любой прохожий со свиным затылком, случайно познакомившийся с тобой в бане, может прийти к тебе в дом. Придет, развалится в кресле, положит тебе ноги на плечи, начнет ругать всех талантливых людей бездарностями, а свою бездарность навязывать, как гениальность, – и ты – ничего?.. Ты – ничего?!

Василий Николаевич удивленно посмотрел на сестру и промолчал. Однако! Чтобы Нину превратить в тигрицу, – это действительно надо того... Как быть? Жена швейцара, которая готовит им обед, в шесть часов уже уходит. Не отпирать совсем? Нельзя, – вдруг кто-нибудь интересный придет или по делу. Написать, что уехал в Финляндию? Не поможет. Справится

у дворника и прилетит... Еще хуже. Вечером как раз должны были прийти несколько близких знакомых. Притащится Петухов, будет всем мешать, хлопать Василия Николаевича по плечу, плоско и бездарно врать, ругать петербургские литературные кружки (еще бы!), читать свои «новеллы»... Неловко. Черт его знает, как все это глупо! Василий Николаевич смахнул со стола крошки и беспомощно посмотрел на свою ладонь.

– Что с тобой, Нина? – спросил он, подняв глаза на сестру. Она необыкновенно лукаво улыбалась, точно захлебывалась в улыбке, и с глубоким удивлением радостно повторяла:

– Какая я дура! Ах, какая я дура!

– Да в чем дело?

– Нашла!

– Не может быть...

– Нашла!

– Не может быть...

– Нашла! Нашла! – Она вскочила с места и, как ветер, завертелась по комнате.

– Что нашла?

– Стоп! Я – хорошенькая, Васька?

– Допустим.

– Не допустим, чучело ты этокое, а факт.

– Пусть факт, – улыбнулся, ничего не понимая, Василий Николаевич.

– Раз. Твой друг ухажер? Два. Я его слегка подогрею... Три!.

– Ты? Его?

– Да, его. Противно, но что же делать? Он ничего не поймет и пересолит. Четыре! Я возмущаюсь. Пять! Жалуюсь тебе. Шесть! И мы его выставяем... Семь! Понял, а? Разве я не гениальная женщина?

– Гениальная, – удивленно улыбнулся Василий Николаевич, – только...

– Что только?

– Разве ты сумеешь?

Нина Николаевна повернулась на каблучках, снисходительно посмотрела на брата и расхохоталась...

IV

Хитрый план Нины Николаевны, который пришел ей в голову в минуту отчаяния, оказался совершенно ненужным. Все завершилось так же просто, как и началось. Можно сказать, классически просто.

В ту пятницу, когда к Василию Николаевичу собрались гости и он, как обреченный медленной пытке, весь вечер ждал друга, – друг не явился. Не явился он и в следующие три дня, а на четвертый пришло письмо – городское, в том же сиреневом конверте в клетку, с печатью, завитушками и пр.

Письмо было кратко: «Дружище Базиль! Очаровательный Питер в качестве столичного города полон соблазнов, я, признаться, пожуировал и профершпилился вдребезги. Жду из провинции подкрепления, а пока что, будь добр, пришли четвертную ассигнацию, которую не премину вернуть в ближайшем будущем. Между прочим, поздравь – продал на четырнадцать рублей стихов... Журнальные сферы меня совершенно разочаровали, однако сдаваться не намерен и твердо держусь бессмертного девиза тургеневского воробья: «Мы еще повоюем!» Твой друг *Димитрий*».

Василий Николаевич оторвал чистую половинку от сиреневого в клетку листочка и, не давая себе остыть, не без иронии сейчас же ответил: «Дружище Demetrius! Двадцати пяти рублей тебе выслать не могу, так как собираюсь купить на выставке ангорского кота, на покупку

которого отложил как раз эту сумму. Что касается до журнальных сфер, то ты прав – они у нас действительно того... Хотя в данном случае к ним следует быть снисходительнее. Твой друг *Базиль*».

Результаты решимости Василия Николаевича оказались превосходными: Нине Николаевне не пришлось брать на себя муку делать вид, что друг брата нравится ей больше, чем любой трамвайный контролер, – служитель муз исчез сразу и безвозвратно. Правда, был еще один аккорд: неделю спустя почтальон еще раз принес знакомый сиреневый конверт. Нина Николаевна вырвала письмо из рук брата и, пародируя «блеяние друга», задыхаясь от еле сдерживаемого смеха, прочла:

«Милостивый государь, Василий Николаевич! Ежели в виде ничтожной дружеской услуги попросил у Вас жалкий четвертной билет и ежели бы Вы, не имея возможности исполнить просьбу, отказали – это было бы досадно, но понятно. Ваш же ответ свидетельствует о том, что Вы в затхлой и черствой петербургской атмосфере лишились даже чувства примитивной *джентльменской* этики и зазнались. Прошу Вас исключить меня из списка не только друзей Ваших, но и знакомых, и, кстати, напоминаю Вам одну старую французскую истину: «*Rira bien, qui rira le dernier*», что по-русски, как Вам известно, значит: «Придет коза до воза».

Известный Вам Дмитрий Петухов».

Иероглифы *(Неюмористический рассказ)*

Раз в месяц Павел Федорович приходил в тихое отчаяние: письменный стол переполнялся. Над столом, правда, висели крючки для почтовых квитанций, писем, на которые надо было ответить, записок «что надо сделать», – но и крючки не помогали. Они тоже переполнялись и по временам становились похожими на бумажные метелки, которыми рахат-лукумные греки сгоняют на юге мух с плодов. Фарфоровая памятная дощечка, лежавшая на столе, носила на себе следы по крайней мере шести наслоений графита, стойки для бумаг не вмещали уже ни одной новой открытки и упорно выжимали из себя растрепанные бумажные углы; из бокала для карандашей торчали самые посторонние бокалу предметы: палочка для набивания папирос, длинные ножницы, кусок багета от расколовшейся год назад рамки, пробирка из-под ванили... Ужасно!

Все лишнее Павел Федорович давно с сердечной болью убрал со стола: люцернского льва, бронзового барона, купленного на аукционе, японское карликовое дерево – и прочие соблазнительные предметы, которые только отвлекали внимание и загружали стол. Но и это не помогало: само собой случалось так, что все вещи, попадавшие на стол, когда они были нужны, так и застревали на нем.

Особенно книги. Это были положительно какие-то ленивые животные. Немецкий словарь Павловского, например, третий месяц лежал на столе, как отдыхающий в иле бегемот, и только изредка передвигался с правого угла в левый. Библия по временам перебиралась на кресло, стоявшее сбоку, но приходил гость и садился в кресло, – куда ей было деваться? А стол стоял рядом... Еще больше огорчений доставлял энциклопедический словарь – он приходил гораздо чаще, чем уходил, и всегда целой артелью, так что иногда к вечеру бедный любознательный Павел Федорович не мог из-за него добраться до чернильницы. Но наглее всего были газеты. Когда их приносил почтальон, они имели вполне приличный вид – узенькие, плотненькие, перетянутые вокруг талии бандеролью, они умещались даже в боковом кармане, – но стоило развернуть одну-другую, и на столе воцарялся хаос. Развернутые листы комкались и не хотели складываться по швам, вырезанные записки лезли под руки и смешивались со старыми... Даже корзинка для бумаг не помогала: две, три газеты набивали ее сразу доверху и упрямо сбрасывали на пол все, что ни клали им на голову. Ужасно, ужасно!

В ящиках было не лучше. Павел Федорович был человек разносторонний и, кроме того, крепко цеплялся за свое прошлое, как почти все одинокие взрослые люди. Если бы некоторые письма и разные странные пустяки (итальянские монеты, гимназический герб, кусок восковой свечи и пр.) исчезли из его письменного стола, – он бы почувствовал себя совсем неуютно на земном шаре и в значительной степени утратил бы самое чувство прошлого... Конечно, это было смешно и нелепо, – но что делать? – настоящее Павла Федоровича было несложно, как гвоздь: утром кофе и булка, утренние газеты, чай, работа и мертвый сон до следующего утра. Будущее же ему всегда смутно рисовалось в образе веревочного хвостика от колбасы, которую дорезали до самого конца.

В ящиках, конечно, были и необходимые вещи, – например, каталоги книг с тщательными отметками, какие книги надо приобрести в первую очередь, какие во вторую. Но и каталогов этих накопилось гораздо больше, чем было нужно: денег на покупку книг не хватало, а если и случались, то всегда подвергивались какие-нибудь дырявые галоши. Земное побеждало небесное; книги так и оставались отмеченными для покупки, а каталоги продолжали желтеть в ящиках; тем временем выходили новые каталоги, Павел Федорович опять отмечал – и так много лет.

В один из таких приступов отчаяния, – когда стол был переполнен внутри и снаружи, а Павел Федорович с омраченным злобой и тупой беспомощностью лицом уже в двадцатый раз выдвигал с грохотом ящик за ящиком в поисках почтовой бумаги и транспаранта, – в один из таких приступов Павел Федорович встал, прошелся по комнате, снял воротничок и сказал «уф!». Потом мотнул головой и опять присел к столу с железным решением разобрать стол до последней промокашки и выбросить весь «хлам» без всякого сожаления.

Если писать «юмористический рассказ», то все дальнейшее можно было бы разыграть по двум трафаретам. Трафарет номер первый: Павел Федорович в порыве увлечения выбрасывает хлам и даже приказывает слуге отнести его, во избежание соблазна, на помойку. Затем ночью, охваченный комическим раскаянием, пробирается в одной рубашке с фонарем к помойной яме, разрывает ее и выбирает свои нелепые сувениры из груды картофельной и яичной шелухи. Можно прибавить и дворника, который принимает его за вора, ловит, тащит в участок и т. д.

Трафарет номер второй: Павел Федорович не выбрасывает своего хлама. В таком случае можно очень забавно – «непрерывный смех!» – изобразить борьбу между принятым решением и воспоминаниями, связанными со старым ключом, кусочком сургуча, письмом от веселой вдовы, украшавшей юность, и прочей трухой, засоряющей ящики. Закончить можно так: под утро прислуга вымела холодного Павла Федоровича вместе с засыпавшим его, как Везувий Помпею, хламом, который он разбирал на ковре.

Но, так как рассказ не юмористический, – то придется пожертвовать всеми этими прекрасными подробностями и скромно вышивать по невзрачной канве действительности.

В углу нижнего ящика, под грудой писчей бумаги и дешевых гравюр, Павлу Федоровичу попала в руки неожиданная находка: толстая, так называемая «общая» тетрадь. Наклейки не было, – вместо нее за прорезанной в черной коленкоровой обложке решеткой чернела тщательно нарисованная печатными буквами надпись «Каторжные работы». Павел Федорович улыбнулся и с любопытством взял тетрадь в руки. Как она к нему попала и что в ней? Он раскрыл ее и сразу узнал собственный гимназический почерк, еще расхлябанный, жидкий, но уже со всеми особенностями почерка взрослого человека, державшего тетрадь в руках.

На первой, раскрытой наугад, странице было написано:

«Dum, priusquam, antequam – с изъяснительным наклоном, если придаточное отвечает на вопрос когда, в какое время».

Павел Федорович удивленно откинулся в кресле и стал припоминать. Что бы это могло значить?.. Но в памяти всплыли только изящные серые брюки молодого латиниста из филологического института и его поза, когда он спрашивал обреченную жертву у парты, поставив с изысканной грацией ногу на скамью.

Следующая страница еще больше озадачила, хотя почерк был опять его – Павла Федоровича.

«Пределом называется та постоянная величина, к которой стремится переменная, так что разность между ними всегда остается меньше какой угодно малой величины». И дальше: «Бесконечно малая есть переменная, предел которой равен нулю».

Павел Федорович представил себе бесконечный ряд мух, которые должны были бесконечно уменьшаться справа налево и стремиться к нулю. Но так как разность между двумя соседними мухами оставалась «меньше какой угодно малой величины», то мухи нисколько не уменьшались и были все одинакового роста.

Он плюнул и сердито перевернул несколько страниц.

«К пятнице повторить до Готфрида Бульонского». В этой фразе, напоминавшей шараду на малознакомом языке, только слово «Бульонский» вызвало знакомый гастрономический образ. Буква «Г» лежала тут же на столе. Павел Федорович развернул 17-й полutom энциклопедического словаря и прочел:

«Готфрид Бульонский – герцог Нижней Лотарингии, родился ок. 1060 г., старший сын графа Евстафия II Бульонского и Иды, сестры Готфрида Горбатого, герцога Нижней Лотарингии, которому он и наследовал в управлении государством».

Дальше в таком же роде полтора столбца петита и подпись – Е. Щепкин.

Павел Федорович уныло вздохнул и, охваченный бессознательным любопытством, достал последний полutom, в котором помещены фотографии всех составителей словаря. Е. Щепкин был в самом конце, звали его полностью: проф. Евгений Николаевич Щепкин. Лицо – круглое и добродушное, лоб переходил на лысину, воротничок прямой, стоячий, каких уже никто, кроме пасторов и некоторых профессоров, не носит.

После Готфрида Бульонского в общей тетради замелькал ряд страниц еще более непонятных. Буквы почему-то были латинские, особенно часто повторялись х, у, z. Одни буквы были в круглых скобках, другие, словно в корсете, в фигурных, вверху справа у многих букв стояли крохотные цифры. Кое-где буквы и цифры лежали друг на друге, в два этажа, а между ними черта. Кое-где, как большие и маленькие верблюды, торчали знаки радикалов.

«Алгебра... – горестно подумал Павел Федорович. – Алгебра...»

Ему вспомнилось с необычайной остротой то чувство холодного ужаса и обреченности на письменных работах, когда до звонка оставалось полминуты. Часть задачи списана, часть решена, а тощий, как вобла, математик стоит над партой и двумя пальцами тянет к себе тетрадку: «Довольно-с, отдохните-с»...

Но значение странных знаков оставалось темным. Не верилось даже, что его пальцы выводили когда-то все эти черточки и завитушки.

Новые раскопки в тетради открыли целые залежи греческих фраз – кудрявых, с ударениями и придыханиями, – таинственных, как звездная карта.

Ниже была приписка: «В четверг *extemporale*! Повторить *aoristus I passivi* глаголов чистых и немых (чтоб они лопнули!)».

Слова в скобках вызвали сочувственную улыбку, остальное – увы... Напрасно Павел Федорович покорно и кротко повторял про себя:

«*Aoristus I passivi* глаголов чистых и немых». Память не только ничего не подсказывала, но сбила его с толку, неожиданно подсунув давно забытый детский счет:

«Унэ-дери-трикандери, сахар-махар-помадери, аз-баз-трибабаз, бес-бедович-кислый квас...»

Вслед за этим опять мелькнул знакомый образ. Маленький, рыжий, всклокоченный «грек» стоял у окна спиной к классу и равнодушным голосом цедил:

«Господа, не списывайте дословно. У кого одинаковые ошибки – кол».

«Дай бог ему здоровья! – вздохнул Павел Федорович и задумался. – Попадают же и между ними люди...»

Наконец в конце тетради он, к искреннему своему удовольствию, нашел отрывок, в котором хоть что-нибудь можно было понять. Это был черновик домашнего сочинения «Герои у древних», из которого ясно было видно, что «герой совершает то, на что окружающие совершенно неспособны, – вот главная причина признания его героизма и удивления перед ним».

Одно место заставило даже Павла Федоровича на мгновение полюбоваться смелым полетом своей гимназической мысли:

«Если во время пожара какой-нибудь человек из толпы бросится в огонь и спасет чужую жизнь, мы назовем его героем, если же то же самое совершит пожарный, оценка наша значительно понизится. Чем это объясняется? Тем, что есть профессии, в которых человек как бы обязан всегда быть героем, причем благодаря повторению героизма ему уже никто не удивляется».

Впрочем, все это место пересекала жирная черта, а сбоку стоял унылый вопросительный знак и собственноручная резолюция: «Не на тему. Ослы».

Павел Федорович медленно закрыл тетрадь, откинулся в кресле и закрыл глаза. Было очень досадно. Вспомнились четверти, унижительный торг с латинистом, в коридоре после урока, о тройке с минусом, которая должна была обеспечить тройку в годовом, подсчитывание на бумажке отметок (сколько в среднем?), ответы «на поправку» в конце четвертей, списывание на промокашках греческих экстемпоралей, – весь мутный чад гимназической повинности, мелких обманов и никогда не затихающей напряженности и тревоги.

Особенно ярко всплыла темная жуткая полоса экзаменационных дней, – дней «подготовки», конспектов, шпаргалок, часов ожидания, пока очередь дойдет до твоей фамилии, и ужасных минут, словно перед эшафотом, – минут обдумывания своего билета...

Даже теперь, при одном воспоминании, Павел Федорович поймал себя на смутной радостной мысли: слава Богу, у него уже ни одного экзамена в жизни не будет.

Он покосился на общую тетрадь и вздохнул: однако разве сегодня это не был экзамен? И какой зверский провал! Словно его подвели к доске, испещренной ассирийской клинописью – ни звука!

Досада все росла. «Столько лет, столько лет...» Но, может быть, он только забыл, может быть, другие, у кого память лучше и кто хорошо учился, помнят?.. Он встал, подошел к стене и постучал:

- Иван Иванович, вы дома?
- Алло! – раздалось из-за стены.
- Можно вас потревожить?..

Иван Иванович, квартирный хозяин, – служил в банке, разбирался в любом вопросе в течение пяти минут и считал себя вторым после Шопенгауэра умным человеком на свете.

- Здравствуйте. В чем дело?
- Вы хорошо учились в гимназии?
- Серебряная медаль.

– Ого! Присядьте на минуту, – Павел Федорович снял с кресла Библию и переложил ее на стол. – Ответьте мне, пожалуйста, на несколько вопросов, только не перебивайте и не удивляйтесь...

– С удовольствием. – Иван Иванович с недоумением покосился на жильца, но потом вспомнил, что получил с него позавчера за месяц вперед, и успокоился.

- У вас память хорошая?
- Нес plus ultra.

– Прекрасно. Скажите, – Павел Федорович незаметно заглянул в тетрадь, – где находится центр тяжести конуса?

Иван Иванович резко повернул голову к жильцу, пожевал губами и изумленно спросил:

- Что это вы, Павел Федорович?
- Ничего. Совершенно здоров-с. Так где центр тяжести конуса?
- Не знаю...

– Так, – Павел Федорович перевернул под столом несколько страниц. – Кто такой Лука Жидята?

- Лука Жидята?
- Да, Лука Жидята. Феодосий Печерский? Илларион?
- Гм... Это что-то такое из словесности.

– Совершенно верно: «что-то такое из словесности». Так. Что вы можете сказать о perfectum и plusquamperfectum mediі глаголов немых с подъемом коренной гласной?

– Не знаю, – вопросительно улыбаясь, ответил квартирный хозяин, смутно догадываясь, в чем дело.

– А, не зна-е-те? – Павел Федорович вошел в свою роль и повысил голос. – Серебряная медаль... Отлично-с! Нарисуйте мне графическое изображение зависимости между временем и скоростью для различного рода движений...

– Извините, у меня болит голова. Позвольте выйти! – Иван Иванович вскочил и дурашливо поднял руку.

– Выйти? А не угодно ли вам, милостивый государь, предварительно перевести: «Гомер на-зы-ва-ет Ферсита бе-зо-бразнейшим из гре-ков». Словарь на полке; сроку полчаса. Ну-с!

– Позвольте выйти! – завопил Иван Иванович, но не выдержал и захохотал, как индюк. Павел Федорович протянул ему общую тетрадь и криво усмехнулся.

– Кол. Садитесь. Смешно, не правда ли? Вот, находку сделал, полюбуйте!

Иван Иванович вежливо перелистал тетрадь и пожал плечами.

– Ах, вот что... Чем же тут любоваться? Дело известное.

– Известное, да не очень. Вы вот ни аза не помните.

– Зачем же мне, собственно, помнить?

– А зачем в нас столько лет вгоняли все это?

– Ерунда. Нашли о чем беспокоиться...

Иван Иванович снисходительно посмотрел на жильца и прищурил глаза.

– Болеют же все корью, – ну и это как корь. Кроме того, полезно для общего развития.

«Очень ты развит!» – подумал Павел Федорович, но вслух этого не сказал.

– Восемь лет – корь? Хорошо-с... Может быть, брата вашего позвать, может быть, он помнит?

Иван Иванович отрицательно помотал головой.

– Отнюдь. Рецепт напишет с родительным падежом, как полагается, ибо это по его специальности. А насчет остального, – как мы с вами: пас.

– Н-да...

– Да вы плюньте... Вот тоже, есть о чем! Комик... Приходите лучше чай пить, – сегодня баранки, а? – Иван Иванович насмешливо оглядел понурую недовольную фигуру жильца, эластично проплыл через комнату и мягко притворил за собой дверь.

От тетради, конечно, не трудно было отделаться. Дрова только что перегорели, по алым жарким углям перебежали сизые мотыльки: брось хоть лед, и тот бы, казалось, вспыхнул. Но Павел Федорович медлил...

Год за годом надо было мужественно бороться со сладким утренним сном, который словно клейстером склеивал веки, глотать, обжигаясь, горячий чай, одним глазом пробегая выветрившихся за ночь из головы «сыновей Калиты» или «брак с Софьей Палеолог и его последствия», другим следя, с замиранием сердца, за минутной стрелкой. Сколько раз он бросал с тоской недоеденный бублик и мчался, как призовая лошадь к столбу, в гимназию, ежась от холода, ощущая за спиной громыхающий ранец – и в нем то нерешенную задачу, то неоконченный перевод, то еще что-нибудь такое – мучительное, как фальшивый вексель, который не сегодня-завтра предъявят ко взысканию. И вот все, что осталось... Он свернул тетрадь в трубку.

А еще раньше, когда он был совсем маленьким?... Когда длинное форменное пальто «на рост» заматало пыль и собиралось внизу в толстые подвертывающиеся кверху складки... Сколько их по всей России мчалось таких же, как он, – маленьких, стриженных, круглоголовых, набитых деепричастиями, избиениями филистимлян, суффиксами, префиксами, четвертым склонением на us и еще черт знает чем... И главное, и главное – не опоздать на «Преблагий Господи»!

«Преблагий Господи...» «Как же дальше?» Павел Федорович напряженно посмотрел в потолок, но ничего, кроме окончания молитвы, не вспомнил: «и продолжения учения сего». И сейчас же машинально всплыл вариант этой фразы, который почти все они тогда с огром-

ным упорством и чувством полупшепотом повторяли про себя: «и прекращение учения сего». Веселый вариант!..

«Для общего развития». Черти! Прожили тысячелетия и хорошей школы не удосужились создать... Девяносто взрослых из ста складно письма написать не умеют, говорят и читают, как косноязычные попугаи... Колоса ржи от колоса пшеницы не отличат...

Павел Федорович очнулся. Все это было так понятно, «так старо»... и так, для него по крайней мере, непоправимо.

Угли в печке затянулись пеплом, – надо было спешить. Он присел на корточки, рванул «общую тетрадь» вдоль корешка, бросил две половинки в печь и дунул в растрепанные страницы. Вспыхнул веселый огонь, заметались перед глазами радикалы и греческие вокабулы, мелькнули «герои в древности», – и широкое светлое пламя разлилось по всей тетради.

Павел Федорович встал, побил для уверенности завихрившийся черный комок кочергой, прикрыл дверцу, умыл руки и пошел пить чай.

Библейские сказки

Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький

Помнишь, как это было? Маленький Моисей (фунтов 20 тогда он весил, не больше) плыл по реке в корзине. В красивой тростниковой корзине, так хорошо пропитанной смолой, что ни одна любопытная капля воды не могла проскользнуть сквозь крепкое плетенье.

Внизу болтали между собой быстрые, веселые струи, сверху улыбалось серебряное облако с золотой каймой, похожее на белого задремавшего кролика. Стрекозы перегоняли друг дружку и, пролетая над корзиной, удивленно звенели: зык! зы-зык! Когда же это было видано, чтобы маленький мальчик плыл по реке в корзине?

А маленький Моисей лежал, смотрел круглыми глазками в небо и разговаривал сам с собой: «Бля-вля-гля»... Разговаривал на том самом языке, на котором говорил и ты, когда лежал в люльке, задрав кверху круглые ножки, пуская пузыри и рассматривая собственный круглый пальчик. Не помнишь?

Вдали за кустами стояла мать маленького Моисея, смотрела, раздвинув тростник, на колыхавшуюся вдали плетеную колыбель, и слезы медленно капали одна за другой в веселую воду...

«Черный лебедь!» – шепнула служанка дочери фараона, с которой она купалась в реке.

Но дочь фараона поднесла ладони к глазам и звонко рассмеялась: «Черный лебедь!.. А может быть, это бегемот приплыл с твоей родины, с верховьев Нила, чтобы тебя проведать... Разве ты не видишь? Это – корзинка!»

Корзинка задела за черную корчагу, торчавшую из воды, закачалась на месте и медленно поплыла к берегу.

Ты думаешь, маленький Моисей стал плакать и вырываться, как это сделали бы мы с тобой, когда увидел склоненное над собой черное лицо эфиопки-служанки с толстыми, красными, как стручковый перец, губами и зубами, похожими на две полоски кокосового ореха? Совсем нет. Сразу попал он к ней на руки, от нее к другой, от другой к третьей (всем было интересно его посмотреть), пока не дошел до ожидавшей на берегу дочери фараона, ласково прижавшейся щекой к теплому детскому телу.

– Ах ты, малышка! Да как тебя крокодил не съел? Тут за отмелью их целое семейство живет... Ну теперь ты *мой!*

Быстро оделась дочь фараона и, осторожно прижимая мальчика к груди, стала, улыбаясь, его укачивать.

И мать, прятавшаяся за тростниками, видела все это и, радостно вскрикнув, пошла домой, благословляя добрые руки веселой царевны.

А потом? Что было делать дочери фараона с таким младенцем? Она велела найти ему кормилицу. И знаете, кому отдали его кормить? Матери, – так уж устроил Бог, потому что жалел мать и любил Моисея.

А потом вот что рассказывает об этом толстая книга, которую часто читает твой дедушка, надвинув на нос круглые очки в черепаховой оправе: «Вырос младенец, и привела его мать к дочери фараона, и он был у нее вместо сына, и назвала она его Моисей, потому что говорила она, я его вынула из воды». Так написано в толстой книге...

Было ему тогда лет пять. Ни днем, ни ночью не расставалась с ним дочь фараона. Каталась с ним в лодке при луне под светлым колыхающимся балдахинном, пела ему веселые песни, хлопала в ладоши и звонко хохотала, – но Моисей не смеялся, печально и молча смотрел на

серебряную воду и тихо гладил пушистую обезьянку, которую подарила ему царевна. Большая обезьяна? Нет, маленькая, рыжая, в красном колпачке с золотой кисточкой.

Днем собирала царевна детей, быстроглазых и юрких. Кувыркались они на пестром ковре и, дразня друг друга, прятались в его широкие складки, – показывали, как ходит страус и как ложится верблюд, – и все служанки и царевна смеялись так, что колыхались широкие опала, прислоненные к стене, – но Моисей печально и молча смотрел.

А когда дети уставали и садились вокруг него полукругом отдохнуть, он молча вставал, оделял их вкусными финиками и бананами (ух, как дети их быстро глотали!) и раздавал им нередко все свои игрушки. Сколько бы ему ни дарила царевна, все раздавал: и ярко раскрашенных жуков, и маленьких ручных черепах, покрытых бронзовой краской, и выдолбленные из дерева лодки с перламутровыми парусами...

Как-то пастухи поймали в поле и принесли во дворец в банке двух тарантулов. Большие такие пауки, с желтым брюшком и волосатыми лапами...

Никогда не видал? Слава богу, что не видал! А поймали их так: пауки вылезли из своих ямок погреться на горячем песке, пастушонок подкрался, прикрыл их сверху глиняной миской, снизу подsunул пальмовый лист, перевернул – и готово!

Собрались дети. Один сквозь пузырь в банку сунул прутик, раздражил пауков, – а те сцепились и давай друг другу лапы вывертывать, желтыми животами трясут, челюстями воздух хватают. Тигры, а не пауки.

Хохочут дети, по ковру катаются. Дочь фараона легла сбоку, в банку дует из всех сил, пауков дразнит, а сама так и заливается. Весело.

И опять, как всегда, только маленький Моисей не смеялся. Мальчик молча сунул руку на дно банки, расцепил ядовитых тарантулов, понес к колючим агавам, что росли у ограды сада, и посадил осторожно на песок. И ядовитые пауки не сделали ему зла, не укусили его, расправили лапы и быстро уползли в поле на свободу... Все видели.

Отпустила дочь фараона детей, отослала служанок, села на ковер к Моисею и долго его гладила по теплой круглой головке.

Долго гладила и нежно прижала к себе и тихо спросила: «Моисей, мальчик мой! Отчего ты такой?»

– Какой? – спросил мальчик и низко опустил голову к ковру.

– Отчего ты никогда не смеешься с нами? Смотри: даже солнце улыбается, птицы звенят, радостно перекликаются в пышных кустах жасмина, рыбы в фонтане весело гуляют друг за другом... Один ты...

– Ты хочешь знать, отчего я не смеюсь? – Моисей быстро встал на ноги и, крепко взяв за руку дочь фараона, потянул ее за собой. – Пойдешь?

Тихонько вдоль стены довел он ее до пышнозатканной портьеры на кольцах и быстро раздвинул занавес...

За портьерой зашуршала одежда, раздался легкий вскрик, и дочь фараона увидела, как, склонив голову, быстро отошла к стене какая-то чужая, бедно одетая женщина.

– Кто это?

– Моя мать.

– Что она здесь делала?

– Она приходит, чтобы тайком смотреть на меня... когда я играю... – тихо ответил Моисей и, подняв низко опущенную голову, посмотрел на дочь фараона.

И не выдержала она печали ясных и глубоких детских глаз и, закрыв лицо руками, быстро вышла из покоя.

Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях

«Когда пророк Елисей шел дорогою, малые дети вышли из города и насмеялись над ним: идет плешивый. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка».

Так говорит Библия.

А я думаю, что дело было не так. Не может быть, чтобы такой славный старик, как Елисей, из-за таких пустяков (ну, подразнили – эка важность) стал проклинать детей. И уж ни за что на свете не поверю, чтобы медведицы так жестоко расправились с детьми. Не их дразнили – им-то что. Да еще будто они переловили столько ребятишек... Одного бы поймали, ну двух, – а остальные, как воробьи, рассыпались бы в разные стороны. Догони-ка.

Если ты будешь сидеть тихо и вынешь изо рта чернильный карандаш и перестанешь дергать кошку за усы, я расскажу тебе, как это было.

Шел пророк Елисей опушкой леса по делам в город Вефиль.

Жарко было, как в желудке у верблюда. Ящерицы, широко раскрыв рты, скрывались под прохладными камнями, птицы сонно покачивались на ветках и дремали – одни мухи не спали.

Так уж их Бог устроил: чем жарче, тем им веселей. И нельзя было от них укрыться нигде. Шляп тогда не носили, – Елисей и веткой отмахивался, и ладонью прикрывался, и головой дергал, и стыдить их пробовал, – ничего не помогало. Лезут гурьбой на лысину, жужжат и щекочут, точно им и места другого на земле нет, кроме его лысины.

Пророк Елисей был очень добрый старик: все звери и птицы и букашки его обожали, и он всех любил. Но и самому доброму надоест, когда надо сто, двести, триста раз кричать «кыш» и махать руками.

А тут еще из-за пригорка целая ватага детей высыпала... Разогрелись, расшалились, и вдруг такое удовольствие: лысый старик идет.

Самый маленький даже рот раскрыл от радости и запел:

– Вон и-дет пле-ши-вый... – и пошло.

Ну вот тут, когда мухи кусают в плешь, а пятьдесят ребятишек вокруг тебя приплясывают и сто-двести-триста раз кричат в уши:

– Вон идет пле-ши-вый... – даже божья коровка рассердится.

Покраснел Елисей как помидор, топнул ногой и крикнул так, что все ящерицы под камнями вздрогнули:

– Молчать. Да я вас всех. Цыц...

А детям только этого и надо: лысый старик рассердился. И еще пуще все в один голос:

– Вон и-дет пле-ши-вый.

Сунул Елисей два пальца в рот, свистнул. Прибежала из леса его любимая медведица, бурая, с черным блестящим носом, с черными блестящими глазками и ткнула головой Елисея в плечо: «чего тебе». И шепнул ей Елисей на ухо:

– Пристают... Пугни их, да не очень...

Ну, медведица – дура, зверь большой, – где ей на цыпочках ходить. Стала на задние лапы, передними замахала, как ветряная мельница, и галопом на детей. Ух, что тут поднялось.

Один через другого, с визгом, с плачем, с криком, с воем, с писком, с ревом, – пустились наутек, – и бежали, не переводя дух, через луга и поля, пока не домчались до материнских коленей, – только там и отдышались. А самый маленький споткнулся о пень, полетел носом наземь, и глупая медведица не опомнилась, как с размаху на детской рубашонке большую прореху прорвала. Только и всего.

Вернулся к закату пророк Елисей из Вефиля. Жар спал. Мухи забились под листья, кто куда, хоботками чуть-чуть шевелят – и не слышно их.

Проходит пророк мимо той же опушки и палкой весело размахивает. Нет детей... Точно их дождем смыло. Только из-за пригорка слышно, как все тот же мальчик, который всю кашу заварил, пищит:

– Прячьтесь. Скорей прячьтесь. Лысый старик идет.

Скучно стало Елисею. Любил он зверей и птиц и букашек, а больше всего детей, дружбу с ними водил, сказки им в лесу рассказывал, – и вдруг такая история: дети его боятся... И совестно как-то. Ну, покричали, подразнили... Зачем же их таким страшным лесным зверем пугать.

Позвал Елисей – никто не откликается. Постоял на месте, вздохнул и пошел к себе в пещеру спать.

Назавтра то же самое, – и день, и два, и три прошло, прячутся дети от Елисея, точно от медведицы. Чуть его завидят, словно сквозь землю проваливаются, – только и слышит за камнями то справа, то слева:

– Удирай. Удирай. Лысый старик идет.

Пустился Елисей на хитрости, знал детское сердце. Смастерил из белых щепок мельницу-вертушку, укрепил на палке и привязал на опушке к толстой сосне. Далеко видно. А ветер подкрался из-за пригорка – дунул, закружил легкое колесо, завертел, – чудесная штука.

Стал Елисей за сосну, плешь бородой от мух прикрыл, догадался и ждет. И вот слышит: один подбирается, за ним другой, еще и еще, точно тихие червячки. Ближе, и ближе, и ближе, пока до самой сосны не дошли.

Выскочил пророк Елисей и только рот раскрыл, чтобы ласковое слово сказать, да куда там. Брызнули как зайцы назад, и мельницы не надо. Но старик другого и не ждал. Побежал наперерез к самому маленькому (который первый дразнился), давно он его высматривал – руками взмахнул, да так его в охапку и поймал, как жаворонка.

– Пусти...

– Не пущу... – пыхтит Елисей, а сам только смотрит, чтобы мальчишка его ногами по носу не задел.

– Пусти, тебе говорят.

Но старик догадался: вынул румяное яблоко, дал мальчику, а сам его по голове шершавой рукой гладит:

– Ешь. Ну, чего ты от меня бежал? Разве я страшный?

Видит мальчик, что ничего, – яблоко дал, медведицы нет, – откусил половину, сам вбок смотрит, сердитый такой мальчишка, глаза блестят, – и говорит:

– Ничуть не страшный. Злой, а не страшный.

– Почему же я злой, – усмехнулся Елисей, а сам второе яблоко показывает.

– А зачем ты на нас большую собаку выпустил?

– Медведицу... А зачем вы меня дразнили?

– А зачем ты лысый?

Рассмеялся пророк. В самом деле, зачем он лысый? Дети не виноваты.

Съел малыш яблоко и вздохнул.

– Дедушка, слушай!

– Что, милый?

– Ты маленьким был?

– Был.

– Ага, был!.. И никогда не дразнился? Ни ра-зу, ты только правду говори, ни ра-зу не дразнился?

Подумал Елисей и еще веселей улыбнулся:

– Дразнился! Ишь ты какая хитрая мартышка. Ну, давай мириться. Зови остальных... – а сам целый ворох яблок из-за пазухи высыпал.

– Идите сюда! – запищал самый маленький. – Он не тронет, он добрый! У него яблоки есть!

Сошлись дети под сосной. Медведица из лесу пришла, в землю носом ткнулась (ей тоже совестно было) и дикого меду целый сот принесла. Вкусно с яблоками! А добрый пророк Елисей разгладил бороду, посадил своего приятеля, самого маленького мальчика, к себе на колени и начал рассказывать сказку.

Какую сказку? Такую сказку, что лучше и на свете нет...

Первый грех

На каком языке говорили в раю? Ты, верно, думаешь, что на русском... Я тоже так думал, когда был маленьким. Маленький француз, если спросишь его об этом, вынет палец изо рта и ответит: «Конечно, в раю говорили только по-французски!» Маленький немец не задумается: «По-немецки, как же иначе»... Но все это не так.

В раю говорили на райском языке. Люди его сейчас позабыли, а звери, может быть, помнят, да и то не все. Чудесный это был язык: в нем совсем не было ни бранных, ни злых слов. Понимали его не только Адам и Ева и жившие с ними в раю крылатые духи, но и звери, и птицы, и бессловесные рыбы (даже рыбы!), и пчелы, вечно перелетавшие с цветка на цветок, и качающиеся травы, и любая скромная ромашка, расцветавшая в тени райской ограды.

Вечерами травы шептали на лужайке под темнеющими пальмами:

– Тишина... Засыпаем...

– И мы... – отвечали, кивая тяжелыми гроздьями, бананы.

– Спать! Спать! – гудели в воздухе райские золотые шмели, слетаясь на ночлег в дупло трехобхватного дуба, что рос у ручья возле тропинки к водопою.

– А где тут трава помягче? – бурчал неизменно каждый вечер грузный носорог, укладываясь среди колючего тростника на покой. Он тростник называл травой, и казался он ему мягче пуховой постели.

Звери даже во сне разговаривали. Мартышки визжали и хихикали – они видели только смешные сны; сонная рысь, облизывая свесившуюся с дерева лапу, тихонько урчала: «Ах, какой большой сладкий финик...» А бегемоты, выставив из тины похожие на чемоданы морды, зевали, смотрели спросонья на встающую малиновую луну и фыркали:

– Фу, какое сегодня мутное солнце...

И хорошие все были, – удивительно. Комары никого не кусали, – что они ели, я не знаю, – но ни Адама, ни Еву, которые ходили без всякой одежды, ни один комар ни разу не укусил. Гиены не грызлись между собой, никого не задирали, сидели часами скромно под бананами и ждали, пока ветер не сбросит им тяжелую душистую вязку с плодами. Львы облизывали всех, кто к ним ни подходил, даже скверно пахнущих шакалов, – ели траву, и так как наестся травой дело было не простое, то они, как быки и лошади, по целым дням не подымали морды от сочных стеблей, – а проворные белки, которым и минуту трудно усидеть на месте, играя друг с другом, бегали взапуски по львиным спинам, как по мягким диванам.

* * *

Однажды на лужайке перед закатом звери вздумали играть в свою любимую игру: в лестницу. В гимназии мы тоже играли когда-то в такую игру и называли ее «пирамидой», но звери такого мудреного слова не знали.

Первым стал слон, скосил умные маленькие глаза в сторону и сказал в нос:

– А ну-ка!

Потом растопырил ноги, опустил голову, покачался и утвердился посреди лужайки тверже скалы. На слона взобрался, отдуваясь от одышки и осторожно выпуская когти (чтоб слону не было больно), толстый тигр, на тигра взлезла горилла, на гориллу медведь, на медведя пантера, на пантеру рысь, на рысь мартышка, на мартышку белка, на белку крыса, а на крысу – мышь...

Играли в лестницу, как видишь, только такие звери, которые умели лазить. Остальные расселись вокруг всей лужайки, смотрели и веселились.

И вот слон осторожно поднял одну ногу, переставил, потом другую и пошел вдоль всей лужайки, солидно и тихо, словно кадку с мороженым нес на голове. Горилла ревела, рысь весело мяукала, крыса, задрвав хвост, пищала, как вырвавшийся из хлева поросенок, – и только мышонок на самом верху лестницы дрожал и крепко прижимался животом к крысе: у него кружилась голова.

Из зарослей кактусов на веселую игру смотрели кролики. Среди них один белый, любимый кролик Евы, – а рядом, вытянув плоскую голову, притаилась огромная, жирная гадина-змея. Как она попала в рай? Переползла через ограду по крепкому плющу, или добрый архангел Михаил, стороживший райские врата, сделал вид, что не заметил ее, когда хитрая тварь проскользнула мимо него на заре, сверкая и блестя чешуей?.. Не знаю. Она одна никогда ни с кем не играла, таилась от всех и молча проползала в кустах, зловеще поглядывая на зверей, – глаза у нее были желтые, цвета мутного студня, с черной поперечной ниточкой в зрачках.

Белый кролик, круглый и пухлый, как муфта, не успел оглянуться, как все его кроличьи друзья ускакали куда-то за рошу, чтоб посмотреть на «лестницу» с другой стороны лужайки.

Задремал он, что ли, или надоело прыгать, – он остался на месте, разлежся, поднял нос и беспечно дышал. И вдруг рядом из-под папоротника поднялась тяжелая змеиная голова, раскрыла медленно пасть и, не мигая, уставилась на него круглыми желтыми глазами. В первый раз в жизни стало бедному кролику страшно: сердце забилося, как муха в стакане, под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли, – голова с желтыми глазами все ближе и ближе, все страшней и огромней, – и жало, словно вьюн, так и мелькает вверх и вниз, вправо и влево.

Крикнуть? Позвать других зверей? Но бедный кролик вдруг все райские слова позабыл, даже пискнуть не мог, только задними лапами со страху два раза в землю ударил... и...

Первые переполошились райские птицы. С деревьев сверху им все видно было: смотрят, лежит змея под папоротниками в тени, хвостом чуть-чуть шевелит, а в пасти у нее белая кроличья спина и задние лапы дергаются и с каждым мигом все глубже и глубже в змею влезают. Встрепенулись и, словно разноцветные цветы, с криком полетели на лужайку, к зверям. Мигом рассыпалась «лестница»! Прибежал грузный слон, и тигр, и мартышки, и мышь, все, все, – окружили гадину, ничего понять не могут.

– Отдай кролика! – загудел слон.

– Отдай! – пискнула мышь.

– Отдай, отдай! – заворчал медведь.

– Сейчас же отдай! – заревел тигр...

Отдай да отдай... Так она и отдаст. Слюной его, бедняжку, всего облизнула и все глубже и глубже в пасть засасывает.

Что делать зверям? Браниться не умеют, отнимать силой – не догадались, никогда у них таких историй не было. И вот рысь спохватилась первая: где Ева? Она для них как добрая мать была, – ее любимого кролика змея глотает, – надо за Евой бежать.

* * *

Ева сидела над райским прудом под пальмой, склонилась к воде, заплетала и расплетала светлые волосы – был ей пруд яснее всякого зеркала. Не поняла она сначала торопливых слов задыхающейся рыси: кролик – змея – глотает – не отдает! Поняла только, что с ее любимым белым кроликом какая-то беда стряслась. В раю, ты знаешь, не было ни детей, ни ягнят, ни щенят, ни котят, никто их никогда и в глаза не видал, но Ева почему-то больше всего любила таких зверей, которых можно, как младенца, на руки взять. Слон велик, белка на руках не усидит, а белый кролик – такой ленивый, и теплый, и пушистый – был ей всех милее...

Встала Ева и пошла быстрыми легкими шагами, едва касаясь травы, к зверям. За ней вприпрыжку, высунув язык, рысь.

Пришла и – видит: звери перед змеей в кучу сбились, и Адам тут. Да и он не в помощь. Стал перед зверями и, как попугай, повторяет за другими: «отдай кролика!» А у кролика только розовые пятки из пасти дрыгают.

Всплеснула Ева руками, соленые капли так из глаз и брызнули (никогда она раньше не плакала) и скорей-скорей через колючие кактусы, сквозь заросли шершавых кустов побежала к райским вратам, – и все кактусы и папоротники расступились перед ней и шумели ей вслед: скорей! скорей!

Архангел Михаил стоял у широко открытых врат и смотрел вдаль на обступившие райский сад румяные от заката горы. Каждый вечер смотрел – и не мог насмотреться.

– Что с тобой, Ева? – спросил он удивленно, обернувшись на быстрые шаги.

– Змея! Кролика!

– Так я и знал... – нахмурился Михаил и, подняв перед собой огненный меч, освещавший, словно факел, темнеющую землю, пошел за Евой.

Веером расступились звери перед архангелом. Опустил он пламенем книзу струистый меч, облокотился на золотую рукоять, и закорчилась, как на копье, под взглядом его лучисто-синих глаз змея...

– Ты! – топнул ногой крылатый страж. – Злая и низкая тварь! Ты прокралась сюда тайком... Я не выгнал тебя, живи, – в раю для всех есть место. Но если ты не хочешь жить по Божьему, я заставлю тебя, как прикованную, не двигаться с места! Вон там, видишь, – Михаил взмахнул багровым мечом, – там, куда никому доступа нет, посреди рая стоит яблоня...

– Дерево познания добра и зла? – быстро спросила любопытная Ева, с трудом выговаривая странное слово «зло».

– Да, добра и зла, – строго ответил архангел. – Ни днем, ни ночью, – наклонился он к змее, – не смеешь ты сползать со ствола: лежи и сторожи... Ступай!

Змея покорно шевельнулась и медленно поползла.

– А кролик, а кролик! – закричала взволнованная Ева.

– Отдай кролика, – тихо сказал архангел.

Змея поползла дальше.

– Отдай кролика! – верхушки пальм вздрогнули, так крикнул архангел.

Понатужилась змея и, сверкая желтыми глазами, как резиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой комочек к ногам Евы.

Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был весь мокрый, словно новорожденный котенок. Только на руках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее...

Ушел архангел к вратам. Разбрелись на ночлег удивленные звери. И шумя потемневшей травой, проползая мимо ног испуганной Евы к заповедному дереву, злобно прошипела, блестя тусклой чешуею, змея:

– Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу...

.....

Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь, – прочел в школе. А не прочел, так узнаешь в свое время.

Праведник Иона

Праведника Иону посетил во сне Господь. «Пойди в Ниневию, нету моего терпения! Живут хуже скотов, злодей на злодее... Образуем их, Иона, а не то...» И загремел гром в небе.

Проснулся Иона, сел на ложе и задумался. Да разве они послушаются? Камнями побьют, а сами еще пуще прежнего закрутят. Слишком уж милосерд Господь... Нянька им Иона, что ли.

И придумал Иона худое дело, словно затмение на него нашло. Сел потихоньку на корабль и поплыл в город Фарсис, будто по делам, авось и без него все обойдется.

В Фарсисе решил заодно родных повидать, внучку на колене покачать, – давно не видел.

Но разве от Господа скроешься? Задул во все щеки ветер, море на дыбы встало, паруса все бечевы порвали и залопотали вверх углами. Закружился корабль, как юла под бичом, – дело дрянь.

Начали корабельщики товар в море бросать: рожки, фиги, смолу-канифоль, только тюки в воздухе мелькают. Все барыши на дно пошли, а толку мало: корабль все пуще носом в воду зарывается, двух матросов водой слизнуло, – кое-как успели за бортом за канат уцепиться.

Что же делать, решили жребий бросать.

Пал жребий на Иону, – и стал он просить корабельщиков, чтобы его в воду бросили и тем корабль спасли.

Делать нечего, взяли старика под мышки, – а он и глаза зажмурил, – вот тебе и Фарсис, повидался с внучкой, – и бросили его промеж двух огромных зеленых волн. Так они его, словно одеялом, и накрыли.

И сразу, словно кто море коровьим языком вылизал, гладкое стало, пруд прудом, а ветер к облакам улетел, на самое мягкое лег и заснул... И поплыл корабль невредим своей дорогой в Фарсис.

* * *

Топить праведника Господу не хотелось. И вот наплыл на Иону несуразный морской зверь Левиафан-кит, глотнул раз и втянул старика с головой и ногами в темные недра.

Сел Иона на смрадных кишках, под себя козий мех подложил (как в воду бросили, так он со страху его в кулаке зажал) и думать стал. Что же больше делать во чреве китовом?

И вспомнил он зеленую землю, розовое солнце на камнях, вырезные листья смоковницы над низенькой оградой, ящериц, укрывавшихся от зноя в его плаще... Господи, не знал он раньше, до чего это хорошо!

Закачала тьма Иону. Лучше уж в могиле, хоть печаль не сосет! Пал он в уголке на лицо и стал молиться, не славословил, не благодарил, а горько жаловался первый раз в жизни:

– Каюсь, Господи, согрешил! Трудно мне со злыми, истомился. Уходил от них, а Ты не велишь. Тебе одному служил, – а Ты отвернулся. Разве серне укротить гиен? Не люблю я их. Грешен, обманул Тебя: думал, что серный дождь для них лучший учитель, чем я... Что ж, Тебе виднее. Каюсь, Господи, пусть будет по-Твоему. Пойду! Освободи только из смрадной тьмы, дай ступить на землю, – пойду и исполню...

Гул прокатился над заалевшим утренним морем. Гулко в испуге ударил Левиафан плоским хвостом. Ударил хвостом и понесся, сам не зная куда и зачем, фыркая и играя, к тихому берегу. С разбега выкатил скользкую голову темной глыбой на песок, раскрыл жирную пасть и выбросил Иону головой вперед, как раз за тем мысом, откуда корабль отчаливал.

* * *

Только к закату вернулся из Ниневии Иона. Шел к морю скалистой тропой на ночлег, – в Ниневии и переночевать не хотел, – всю дорогу сердито ворчал. Усмирил? Уж они его помянут: гремел, как лев в пустыне, стружьями проказы грозил источить все живое, иссушающий ветер звал на их сады и источники, гром – на их кровли, мор – на их скот, саранчу – на их поля... Покаялись. Только бичом страха и можно их к Господу пригнать. Но надолго ли?

Шел Иона, угрюмо смотрел на свои пыльные ноги, – трудно ему было понять своих злых братьев, и не радовал его тяжелый подвиг, который выполнил он по Божьему слову.

И вдруг за выступом скалы остановился: лежит на земле ястребенок, из гнезда выпал, пищит, клюв разевает и слабые крылья топорщит. Улыбнулся Иона, взял птенца на ладонь, поднес к глазам: цел! Полез вверх по шатким камням, по писку нашел гнездо, уложил ястребенка среди двух таких же писклявых и, довольный, той же дорогой спустился к подножью. Расстелил плащ под скалой, вытянул усталые ноги и уснул.

И опять посетил его во сне Господь:

– Ну, что, Иона, сетуешь?

– Сетую, Господь, прости уж...

– А ты бы, Иона, не пощадил?

– Не пощадил бы, Господи!.. Уж Ты который раз пугаешь. Покаются – потом еще пуще грешат.

– Вот ты какой строгий. Что же ты ястребенка-то пожалел? Разве он добрый? Подрастет, – станет других птиц бить, кровь сосать. А, Иона?..

Обиделся Иона:

– Да ведь Ты же его сам создал, Господь!

Но разве кто из праведников Господа переспорил?

– Создал... А подумал ли ты, что в Ниневии сто двадцать тысяч живых душ? Не все же они псы. Из ястребенка – только ястреб и вырастет, а человек – то змей, то голубь, как повернуть. Авось уймутся... И дети растут, – как же им без матерей и отцов подняться? Истребить легко, да тогда и создавать не стоило.

– Что же, может, и не стоило, – печально вздохнул Иона.

– Ну это уж не твоего ума дело. Это Мне знать, а не тебе. А ты, Иона, не сетуй, а люби.

Так ли?

– Так, Господь... – смутился Иона и проснулся и до светлого утра размышлял.

А как первый свет брызнул в глаза, понял, что мудрость жалости глубже мудрости гнева. Встал, взял посох и пошел к шумящему морю. Обогнул мыс Иона, смотрит – вот чудо. Тот корабль, на котором он бежать хотел, у берега новым товаром грузили, да и корабельщики те же. Увидали его, глазам не верят:

– Смотри, старик-то жив!

– Жив, жив, – рассмеялся Иона, – и еще лет сто проживу! Что же, опять с вами поеду.

Возьмете, что ли?

– А зачем тебе в Фарсис?

– Внучка там у меня, – улыбнулся Иона и тихо повторил: – Внучка. Давно не видал.

– Ну, что ж, садись, – сказал кормчий и прикрыл ладонью глаза: солнце подымалось над морем.

Голубиные башмаки

Невероятная история

Знаете ли вы, что такое «приготовишка»? Когда-то до войны так называли в России мальчуганов, обучавшихся в гимназиях в приготовительном классе.

Мужчина этак лет восьми, румяный, с веселыми торчащими ушами. В гимназию шагал он не прямо по тротуару, как все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский конькобежец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. В ранце тарыхтел пенал, горсть грецких орехов, литой черный мяч, арифметика и Закон Божий. В руке – надкусанное яблоко. Полы светло-мышинной шинели, подбитые стеганой ватой, отворачивались на ходу, как свиные уши. Шапка темно-синяя, с белыми кантами, заломлена по бокам пирожком, а герб в подражание второклассникам согнут в трубочку: не как-нибудь! На ногах – броненосцы: огромные резиновые ботинки, на которые лаяли все встречные собаки.

Вот, собственно говоря, что такое приготовишка.

Учености его я касаться не буду, потому что сам затруднился бы вам теперь ответить, «что делает предмет», какая разница между множимым и множителем и как назывались несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет.

* * *

В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой баловницы-тетки один такой приготовишка, Васенька Горбачев. И была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из «Тысячи и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька видал как-то в цирке у Дурова дрессированного зайца, который зубами, по желанию публики, вытаскивал карту любой части света, катался на маленьком заячем велосипеде и, скосив глаза вбок, отдавал честь старой легавой собаке.

Штуки не бог весть какие... Мальчик решил скопить денег, купить простого деревенского зайца и обучить его тайком в ванной комнате совсем другой вещи: четырем арифметическим действиям и таблице умножения.

Счет, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать лапкой...

Вот будет сюрприз! Во всех газетах появится Васин портрет с зайцем, директор гимназии объявит ему перед всем классом благодарность и напишет тете письмо, что племянник ее, Василий Горбачев, затмит когда-нибудь самого Ломоносова.

От каждого завтрака – а давала ему тетка каждое утро гривенник – экономил он по три копейки и, когда накопил рубль медью, обменял его в мелочной лавке на серебряный. Зажал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошел в ботиках, весело насвистывая, на Трубную площадь, где продавали в клетках и прямо с рук всякое зверье и птицу.

* * *

Чудесно было на Трубной площади! Небо синенькое, весеннее, под галошами вкусно чмокала налитая водой слякоть, у обочины тротуара искрился и лепетал ручей, словно он не по людной Москве бежал, а по деревенской околице. На окне в портерной – бутылки играли на солнце ярче аптечных шаров. А народу на площади – муравейник. И все можно достать, чего пожелаешь: конопляное семя, кормушки для птиц, муравьиные яйца в пакетиках – фунтиками.

В ивовых клетках копошилась живая тварь: дымчато-голубые горлинки, выпятив грудку, ворковали под столами и нежно друг дружку подталкивали клювами, надувались толстые черные куры-испанки в лохматых штаниках, нарядный карликовый петушок со своей белой курочкой, словно игрушечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги, сойки, чижи... Белка свернулась в рыжий комок и спит, – надоело ей вдоль клетки прыгать... Мопсы, маленькие, совсем еще дети, высовывали розовые носы из-за пазухи оборванца... Но зайца – не было. Нигде не было!

Три раза обошел Васенька площадь, во все лари заглядывал, под все столы: нет зайца.

– Чего покупаете, купец? – хрипло спросил друг у пригостишки опухший босяк и зорко посмотрел на серебряный рубль, торчавший из Васиного кулака.

– Зайца...

– Шкурку, что ли?

– Какую шкурку! – Мальчик обиделся. – Живого зайца, как вы не понимаете. Да вот нету.

Продали, что ли, всех...

Босяк задумался.

– Много ли дашь? Я достану.

– А что он стоит? – Васенька и сам не знал, как живых зайцев расценивают: на вес, что ли, или в длину по вершкам.

– Рупь. – Босяк снова покосился на Васин рубль, перевел глаза на пивную лавку и сплюнул.

– Девяносто пять копеек? – робко спросил Васенька.

Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в мелочной сразу можно бы зайцу свежей капусты купить.

– Рупь, – хрипло повторил опухший субъект. – Через полчаса приходи сюда, видишь, вон где сбитенщик стоит. Будет тебе заяц.

– Живой?!

– Дохлыми не торгуем.

Васенька радостно щелкнул языком и побежал, чтобы убить время, к знакомой табачной лавке через улицу. Там в окне давно уже он приметил серию марок мыса Доброй Надежды. Надо спросить о цене и выменять на двойники.

Целых полчаса! И куда это босяк за зайцем отправился? Нырнул в подворотню, фить – и исчез.

* * *

Не прошло и получаса, – Васенька уже давно на Трубной площади топтался около указанного места. От нетерпения даже минутную стрелку на своих черных часах на пять минут вперед перевел.

Наконец видит, идет босяк, а под мышкой у него какое-то серое чудовище лапами держат.

– Заяц!..

Босяк нос об зайца вытер, дух перевел и заторопил:

– На! Давай рубль! Еле раздобыл... Тащи, тащи живей, чего глаза расстегнул? Под зад поддерживай, башку под локоть зажми, а то даст стрекача, – пропал твой рубль ни за копейку...

Сказал, заржал на ходу, картуз козырьком назад передвинул и скрылся, – только дверь в пивной и хлопнула.

Понес мальчик своего драгоценного зайца домой, хоть и не легко нести, сам так весь улыбкой и расцвел. На трамвай денег нет, да и пустят ли с зайцем.

– Сиди смирно! Ишь тяжелый какой, словно утюгов наелся.

А заяц не унимается, лапами, как пожарный насос, работает, так и рвется прочь из подмышки, точно его казанским мылом намылили.

И вдруг...

* * *

Тетя Варя в ужас пришла. Приплелся ее любимый Васенька домой, плачет – рыдает, захлебывается, по всей мордашке слезы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья шкурка.

– Что с тобой, Василек? Кто тебя обидел? Что за шкурка такая?

– Мо-шен-ник меня об-мо-шен-ни-чал! Я у него на Трубной зай-ца купил... Ду-мал, тебе сюрприз устроить, обучить зайца таб-ли-це умножения. А босяк, тетечка, взял рубль...

– Ну?!

– Сунул мне зайца... Я несу, а он барахтается. И вдруг... он шкурку свою рас-по-рол... и из шкурки живая кошка вылезла... и убежала!

– Как кошка?!

– Ну, как ты не понимаешь! Босяк кошку во дворе сцапал, наскоро в заячью шкурку зашил... и мне продал... Народ кругом хохочет! Я сначала испугался, потом растерялся, а потом плакать стал... Досадно ведь, тетечка! Что я теперь делать буду?!

– Не плачь, Василек...

Тетка племянника по стриженной головке гладит, а самой и жалко его и смешно.

– Не плачь! Я с тобой сама пойду, настоящего живого зайца купим. Обучим его хоть геометрии, ты у меня мальчик ученый, авось выучишь. А плакать не надо. Что это в самом деле. Мужчина – плачет.

– Купишь, тетя?! В самом деле?... Побожись, что купишь!

– Божиться грешно... Тетке и так верить надо. А вот ты поди умойся, ишь целое озеро по лицу размазал. Да приходи чай пить с малиновым вареньем. Хорошо?

Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, куда и горе девалось. А тетка за спицы свои взялась: Васеньке чулки надвязывать. Вяжет и ворчит:

– Вот, прости господи, какие мошенники окаянные по Москве пошли... Кошку в заячий мех среди бела дня зашивают, дитя обманывают. Тьфу!

Самое страшное

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться... Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня, вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались, ни акул, ни крыс не было... Однако до сих пор – а уж не такой я и трус – чуть вспомню, по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься... и улыбнешься. Рассказать?

* * *

Был я тогда пригостишкой, маленьким стриженным человеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится... Учился в белоцерковской гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...

Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек – сад. А между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский: градусов всего пять-шесть. Выпустили нас, гимназистов, и верзил и маленьких, на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлюэнцы не схватить (тогда грипп инфлюэнцей называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается: ни за что с маленькими собаками играть не хотят, все за большими гоняются... Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб берет, либо в лапту играют – я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дела не мало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали «Колобок», потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок.

Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь – литой черный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом, галоши на ходу взлетают, – и подаешь кому надо. Опять на свое место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая: перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч сверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься.

И вот, на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он низко над головами косой галкой прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что делать?

На свое горе, я сгоряча и вызвался. Пригостишки очень ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят... А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар стационарный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену уперся, другой на него – вроде римской осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули – ух! – взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис... Снег мягкий, шинель толстая – ничего! И полетел вниз в полной беспечности легким перышком на ватной подкладке.

* * *

Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю – некогда.

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый... Справа девочки, слева девочки, сзади девочки... Тысячи девочек, миллионы девочек... Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощекая, толстая, ватрушка воинственная в капоре, надсаживается – кричит:

– Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!

Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно... Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осинового гнезда выдержусь?! Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза – острые, ехидные, по всей моей восьмилетней душе ползают... Колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И все ближе и ближе... Это тебе не тигр во сне. Не акула в море. Не крыса в погребе...

Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-шу... Язычки, как жала, высываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыснут все, как покатытся... Воробы с кустов так и брызнули. А я посредине – один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Еще теснее... Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам – помучить... Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защеконут, как русалки? Каждая в отдельности ничего, но когда их тысячи, – мышей, например, – что они с епископом Гаттоном сделали?!

Но они ничего. Только еще ближе подобрались. Одна, постарше, наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове погладила... Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула, – всего меня снегом обкатила. Начинается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходиться начинаю. Мускулы под шинелью натянул. Как сталь! Что ж, думаю... погибать, так с треском! Сто девочек на левую руку, сто на правую! Брыкаться-кусаться буду... И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул.

А они опять как заляются. Словно весь сад битым стеклом посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос... Чайник я ей с ручкой, что ли?! Обидно мне стало ужасно... Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик:

– Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-ча-ют!!!

Да разве их перекричишь... Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл... Так бы я, быть может, и погиб...

Но, на мое счастье, вижу, издали, словно облако, седая дама плывет – в серой шубке, на голове серебристая парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили... От реверансов снег задымился...

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

– Вы как сюда, дружок, попали?

Представьте себе – тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не пригостишка, а «Капитанская дочка» и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно...

Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороженную голову и опять спрашивает:

– Как вас зовут?

Ну это я кое-как, слава богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал:

– Шаша.

Опять вокруг ехидные девчонки захихикали. Не громко, конечно, но все равно же обидно. Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у пригостишки острый!) шипение слышу:

– Шашечка! Промокашечка... Таракашечка...

А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес.

– Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали?

И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит:

– Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:

– Стыдитесь! Большие – маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдет?

– Да он сам вызвался.

– Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?

И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.

– Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили... Слава богу, не все же здесь маленькие... Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала.

Довела меня седая дама сама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало...

Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям: да и время было, – колокольчик во всю глотку заливался... Кончилась, значит, большая перемена – кончились и мои мучения...

На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел.

– Почему?

– Не пойду.

– Да почему же?

– Не пойду, не пойду!

Няня только головой покачала:

– Фу, козел упрямый... Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.

Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск – для нее было все едино.

Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

– Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.

Париж, 1928

Голубиные башмаки

Было это в Одессе, в далекие дни моего детства.

Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с половиной лет, был необычайно серьезный мальчик.

По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал, придумывал.

Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах – от мелкой дроби до сломанного пробочника – можно было найти такие вещи, какие ни у одного старьевщика не разыщешь.

Даже искусственный глаз нашел где-то на улице и никогда с ним не расставался: натирал его о штанишки и все пробовал, какие предметы будут к глазу притягиваться.

Изобретает – и все, бывало, что-нибудь жует в это время: хлеб с повидлом, резинку либо копченую колбасную веревочку.

Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов.

К несчастью для себя, Володя изобретал все такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.

То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порох.

То приготавливал из ягод шелковичного дерева чернила: давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырек, – перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.

А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щелкала Володю медным наперстком по голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод какой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, – а ты знаешь, сколько новые обои стоят?.. Шмаровоз!»

Володя не обижался, – к наперстку он привык, а «шмаровоз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.

Уходил на кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные буквы. Точно книгопечатание не было и без него изобретено.

Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.

То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтоб три мыши оптом ловить – для экономии.

Но проволочка зажимала защелку, мыши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире: не влезали.

То липкую бумагу для мух смазывал медом и до того густо посыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стеклах клейкие следы оставляли.

А больше всего, помню, возился он с силками для голубей.

Обыкновенно силки дело не хитрое: мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, – надо было только не попадаться на глаза ломовым – «биндюжникам», а то и собственных волос лишиться; потом они плели леску, делали петли – вправо и влево поочередно, прикрепляли силки к кольшкуну и засыпали зерном... Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука.

Но Володе этого было мало.

От каждой петли он еще проводил с нашего дворика к своему окошку нитку.

И привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой камышинке над столом.

Чтобы, пока он у стола другим делом занят – мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры, – каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.

Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробьи все зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую: все петли благодаря Володиному усовершенствованию вместо того, чтобы стягиваться, только растягивались.

Так у нас немало провизии тогда зря пропадало – на мышей, да на мух, да на птичье угощение.

А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов глотал – то повидла, то гусиных шкварок, – то, право, можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать.

* * *

Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой взял.

Слышал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углем грузят.

Дед согласился, – что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и все клянчит...

Надел Володя новые желтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.

А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят.

Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула: «Ах ты боже мой!», точно крыса в котел с супом вскочила.

Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник...

Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слезы.

– Где башмаки?!

– Жу... Жулик унес...

– Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастное!

– Я не чу-че-ло... Я сам... снял. За что ты меня мучаешь?..

И стал реветь все громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать.

Только пузыри изо рта выскакивали.

А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, уперся – и ни слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули.

Тогда я увел его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и упросил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани.

Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и все мне рассказал.

* * *

Голубей на угольном складе не оказалось.

Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники» только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили.

Дедушка ушел в свою контору.

Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует: гавань в двух шагах, – когда еще сюда попадешь?

Скользнул за ворота, прошел под эстакадой и, действительно, – голубей на набережной туча...

Прямо живая перина на камнях шевелилась!

Отошел он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.

А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зернах, – ешь, не хочу...

Володя ждал-ждал... Грузчики стали на обед расходиться.

Совсем он разочаровался, хотел было и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит.

Подошел поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал.

А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и засвистал. Кто ж так голубей ловит? Этот способ устарелый!..

Конечно, Володя зашевелился, – какие такие еще способы есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.

Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой секрет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в желтые – этот цвет голуби обожают, – насыпать зерна. Голубь в башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой распухнет, – так в башмаке и застрянет.

Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем... Твои башмаки в самый раз подходящие.

Володя разулся, – доверчив он был, как божья коровка, да и новый способ заинтересовал.

Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушел за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет...

Так он просидел с полчаса. А потом ноги затекли, и стали его черные мысли мучить.

Вскочил он и бросился за ящик.

Туда-сюда: ни босяка, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются-урчат... Возьми – голый рукой.

И вот так, всхлипывая, – к дедушке в склад он и носа показать не решился, – босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу...

Помню очень хорошо: прослушал я Володин рассказ серьезно-пресерьезно, ведь дал слово...

Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, я не выдержал: убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила.

За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомню, что голуби «желтый цвет обожают», – так суп у меня в горле и заклоочет... Бабушка, помню, даже обиделась:

– Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завелся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!

Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал.

Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотишь.

Пасхальный визит

Квартира возле PORTA NOMENTANA. Выше учительницы, выше штопальщика-портного, даже выше двух синьор, работников с кустарной фабрики плетеной мебели. На что уж бедные синьоры, но Варвара Петровна умудрилась еще выше поселиться, рядом с голубями.

Из кухни окно в бездонную коробку двора, – смотреть жутко. Будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолустье. Изо всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жареного луку, томатные ароматы, переливающийся из окна в окно гул перебранки и приветствий. Веревки – вдоль стен вниз и поперек из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голосистый поставщик молока и овощей положит что нужно – не подыматься же ему под небеса; на других, слабо надуваясь, сохнет разноцветное тряпье, – словно выпелы на адмиральском судне в праздничный день. Зато окно из спальни на вольный простор. Глубоко внизу под узеньким балконом кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны неустанно цветущие мимозы – канареечный, нежный дымок. Темный, вечно закрытый сад туго разросся между каменными стенами, – ноге никогда его не коснуться, но глазам отрада.

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской Академии художеств в Италию, в апельсиновое царство, два года протосковал, щи варил и программное полотно с лодочниками в красных беретках писал... Простудился, слег, да там на Капри и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком, с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать жизнь. Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу – надо же детей подымать.

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину ни забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала.

* * *

Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспоминать... Работала она сестрой в местном госпитале – к детям только в свободные часы прибегала. Но спасибо добрым соседям – заботились они о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна ожила, жить стало всем легче.

Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделье, завела через отельных портье знакомства и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами...

Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски говорить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на базаре и в лавках – только итальянские звонкие слова в ушах и звучат. Вечно в своей суеде толочся: то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами... Домой прибегал на минутку, глотал макароны, уроки учил как-то по-птичьи, на ходу, и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо и матери не был в тягость.

Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик, Нина и была утехой. Мать вышивает, а девочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку – слова от матери слышала:

Таня пшенушку полола,
Черный куколь выбирала...

- Мама, что такое куколь?
- Не знаю, котик.
- Ну, какая ты. Русская же песня, а ты не знаешь.

Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет – в который уже раз! – перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата: это снег. Никогда не видела, но, должно быть, очень интересно. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка, Нина видала. Белый-белый ствол и весной желтые червячки-сережки дождем висят... А вот и любимая картинка: «Генерал Топтыгин». Это так медведя в России называют. Сидит в санях – это такая «кароцца» без колес, развалился... Лошади испугались (еще бы!!) и мчатся как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы, такого же цвета, как ее бледные восковые щечки, спустились на глаза...

– Мама, смотритель очень испугался? Что прикажете, генерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него – р-р-р! Правда, мама?

Мать все вышивает, отвечает невпопад, а то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина, почему не для себя, почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет...

Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол: ишь, сколько ниточек! Двадцать раз в день метешь – не помогает.

* * *

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном: сюрприз... белое шелковое платьице, канареечная лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она забыла... Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы запек.

Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово... И яйца, веселые и пестренькие, ну разве можно их есть? Жалко ведь...

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:

- Сама оделась? Вот умница... Христос воскресе, Ниночка!
- А как надо отвечать? Я уже забыла...
- Воистину воскресе...
- Во-ис-ти-ну!

И поцеловались они не три, а пять раз взасос. Так уж случилось.

Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила:

- Ты ведь сегодня не вышиваешь?
- Кто же сегодня вышивает?..
- Вот и отлично. Значит, мы пойдем в зоологический сад. Ты ведь обещала. Да?
- Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а то ты так в руке ее и понесешь.

Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила:

- Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с трещиной. И кулича кусочек. Только потолще, хорошо?
- Возьми, конечно.

Варвара Петровна удивилась: никогда девочка не просит... ест, как цыпленок, всегда спрашивать надо. И вдруг – четыре яйца и кулич... Фантазия!

* * *

Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой золотистой от песка дорожке. Ишь, как бежит! Куда это она?

Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом:

– Добрый день, синьор, как поживаете?

Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски, по-русски ведь они не понимают.

За поворотом, на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей, как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались: тигр на свободе!

Нина и с тигром поздоровалась. Но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он... поздоровался.

И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски – медведь ведь русский был:

– Здравствуй, здравствуй... Скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи... Вкусно! Вот увидишь, как вкусно...

Она аккуратно облупила одно за другим крашенные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал.

– Еще?

Съел и второе, и третье, и четвертое. Куlichem закусил и приложил лапу ко лбу, точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен.

Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала:

«Воистину, воистину!...»

Должно быть, это то же самое, что «на здоровье!...».

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого не хватало... Слезы... «Все съел, Ниночка? Вот и отлично!»

Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила:

– Конечно, отлично. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь... Мне сторож давно уже рассказал, что его прислали с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, мама? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассорил. Не то что маргышка какая-нибудь... До свиданья, синьор Топтыгин. До свиданья!

Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных, матово-сизых агав к пантерам; там маленькие детеныши так смешно в прятки играют, надо насмотреться, а то вырастут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через голый ствол прыгать.

В лунную ночь

По вечерам учительница любила уходить одна к морю. Детей в русской усадьбе укладывали спать рано. Младший мальчик, морщась, пил свое молоко и каждый раз упрашивал учительницу:

– Пожалуйста, Лидия Павловна, один глоточек.

– Пей сам.

– За мое здоровье!..

Так он, хитрец, по крайней мере глотков шесть спаивал ей: за свое здоровье, за здоровье старшего брата Миши, за здоровье бабушки в Лондоне и составителя хрестоматии – Острогорского... За здоровье больной индюшки, которая с утра до вечера чихала под балконом в своей конурке. И нельзя было обидеть ни бабушку, ни индюшку, ни Острогорского.

Старший, Миша, пил молоко без фокусов. Длинный и желтоволосый, вытягивался он, как репка, в постели, перебирал тихо на одеяле английские детские журналы со смешными пингвинами и зайцами и тихо спрашивал:

– Опять к морю?

– Да, дружок.

– Мыслить?

Лидия Павловна, улыбаясь, кивала головой.

– Каждый вечер?

Он удивленно пожимал плечами. А впрочем, разве у него нет своих секретов, разве не «мыслит» он сам, вытянувшись в постели и притворно закрыв глаза, чтобы взрослые не приставали: «Не спишь, Миша? Спи! Надо спать»...

Лидия Павловна вставала, пожимала мизинцем левой руки левый мизинец Миши – так они всегда прощались – и уходила к морю.

* * *

В эту пустынную ночь полная, налитая сиянием луна, словно ночное ртутное солнце, заливала тихий залив. В Париже даже не знаешь – луна ли сегодня в небе, либо световая реклама – крем для ботинок «Диана» – маячит вдали над улицей. Кто там в Париже поднимает голову к небу? Коты на крышах, пять-шесть чудаков-астрономов да пьяный прохожий на окраине, беспомощно обнимающий уличный фонарь... Остальным ни до луны, ни до неба. И запрятаны они – облака, Млечный Путь, звезды и месяц – где-то там над домами так искусно, что только по календарю знаешь, полнолуние ли сегодня сверху либо глухая, синяя тьма...

Но здесь, у залива... Лидия Павловна сидела на пальмовой, выброшенной морем колоде, поглаживала рукой шершавую, забитую солью кору и смотрела. Отдыхала глубоко, до самого дна души, как много лет уже не отдыхала. Она долго вспоминала, перебирая в памяти год за годом, потерю за потерей, – когда она была в последний раз так бездумно и просто счастлива? Пожалуй, перед самой войной, на одной из дальних линий Васильевского острова, у прохладного ночного окна, когда вот так же разливался над сонными крышами лунный разлив, а в голове кувыркалась и высывала язык смешная, школьная радость: «К черту, к черту, к черту! Последний государственный экзамен сдан!..»

Кто знает, быть может, счастье и есть глубокий отдых, больше ничего. Выпрямленные плечи, свободно задумавшиеся, бог весть о чем, глаза, лунное трепетание на руках.

И еще радовало Лидию Павловну, радовало и смущало, что здесь впервые с нее слетела этикетка – «эмигрантка». В городе опять сама собой приклеится. Пусть. Но здесь... Чье небо? Чья луна? Чей ветер? Чьи волны, шипящие у ног? Французские или русские? Ничьи – значит, и

ее. И в этот час, когда в глубине долины, у подножий холмов, вдоль всего побережья каменным сном спали в каменных сараях под широкими пальмами и смоковницами местные фермеры, старухи, мулы и куры, – не одна ли она бодрствовала, не ей ли одной сияла лунная дорога... Чья лунная дорога – русская, французская? Ничья.

Учительница встала и обернулась. За спиной вздыхала и приветливо, словно для рукопожатия, протягивала лапу усадебная шершавая дворняга. Собака улыбалась, ей-богу, улыбалась седой посторонней русской женщине широкой песьей улыбкой и совершенно явно своей несложной мимикой старалась объяснить:

«Я полежу возле вас. Можно? Вы мне симпатичны. Здесь у воды прохладно, а в усадьбе слишком много блох. И у вас такие душистые, теплые руки... Можно?»

Лидия Павловна дружески потрепала шелковое отвислое ухо и улыбнулась.

Вот, стало быть, не одной ей не спится в эту ночь. Еще один лунный мечтатель объявился – с хвостом.

Наклонившись к черневшему у ног обгоревшему устью старого костра, русская учительница сгребла палкой в кучу хворост, полузасыпанные песком сосновые сучья, кору и шишки, кусок просмоленного лодочного кия... Длинными сосновыми иглами пересыпала колючий бугор и достала из сумочки спички.

Собака встала, отряхнула с шубы песок и внимательно повернула голову. Сейчас вспыхнет желтоватая метелка – огонь. Заклубится сизая дымная борода. Полетят, стреляя и фыркая, искры. Приезжая женщина сядет у костра и обхватит колени руками... Можно будет, прислонившись к ней головой, смотреть на огонь, сладко зевать и нюхать смолистое, переливающееся тепло.

* * *

Не одну собаку притянул костер и уютный оранжевый круг вокруг трещавшего огня. От темных камней у воды, где полукругом белели в лунной известке лодочные сараи, отделилась долговязая фигура, длинноногая астролбия в берете.

Собака не тронулась с места. Знает: это гость-француз, приезжий садовник. Живет на соседней ферме. К собакам равнодушен, как, впрочем, и собаки к нему. Длинный, словно складная лестница, которую осенью под персиковые деревья подставляют. Все носится у самого края воды от мыса до виллы на горе. Где ни увидит человека на песке, плюхнет рядом и начинает, тыча рукой в воздух, лопотать, как рубашка на ветру... За пазухой всегда опавшие фиги, которые он по всем дорогам подбирает. Вынет, понюхает и ест. И в волосах колючки, потому что спит на прессованном сене в сарае.

Собака не ошиблась. Двадцатилетний жираф-садовник опустил против учительницы на песок, дружески кивнул ей и стал вилообразными руками подгребать в огонь хворост.

Желтая метелка, треща и дымя, рванулась кверху. И еще светлее и прозрачнее стал лунный полукруг воды и пляжа, чернее и строже стена прибрежных гигантских сосен. Собака недовольно отодвинулась: и так жарко, зачем же еще подбрасывать?

А привлеченный огнем чудак вытянулся на песке, почти сунув пасть в самый костер, и, продолжая позавчерашний разговор, замахал перед носом своей словно вывихнутой лапой.

– Видите, окно над сараем освещено... Этот старый морж Фалиас сидит под своей крышей и перелистывает календарь 1920 года, который я ему когда-то подарил. Накожные болезни у канареек и колыбели коронованных особ с картинками. Он дома. Выбросит за окно удочку, наловит для буйабеса десятков морских ершей – и сыт. Сосна перед дверью старше его. И над дверью из морских ракушек выложено: **Фалиас**. Вы понимаете? А окна вон той виллы – темны. Я вам говорил, мадам. Это наша бывшая вилла. Я в ней родился. Понимаете? Родился, рос, играл с братьями. Сосны, море и закат были нашими игрушками. Мы ловили под камнями

сколопендр и сажали их в помадные баночки. В садике над морем сложен моими руками грот: брат был Пятницей, я – Робинзоном... Мы шлепали по воде с утра до заката, ловили и высасывали морских ежей, плавали вон до того далекого камня... Здесь моя родина. Вы понимаете, что такое родина, мадам? И вот три года тому назад – я вам рассказывал уже – отец за долги продал наш дом. Продал старому лавочнику в Борме, которому эта вилла так же нужна, как этой собаке цилиндр.

Дворняга у костра недовольно заворчала и отодвинулась.

– На осенние месяцы нашу виллу сдают какому-то голландскому художнику. Я ненавижу его, мадам, я видел его... Красный и глупый. Рисует море, а выходит лимонад. Спит на постели, на которой я родился, а в моем гроте у него склад пустых пивных бутылок... Я приезжаю сюда каждое лето, когда дом еще пуст, – на две недели. Проверяю – цело ли наше гнездо. Днем брожу внизу у камней и смотрю на наши слепые окна. По вечерам перелезаю через забор и сижу в нашем садике на скамье, которую смастерил мой отец. Столб с солнечными часами покривился. Я его выровнял. Мимозу, надломленную ветром, перевязал... И вот – видите, как я одет? Как огородное чучело. Я не пью даже сидра, не курю. Каждая папироса – лишний гвоздь в нашем заборе. Служу в садоводстве под Парижем, я вам рассказывал. Работаю как мул... И каждое су откладываю. Год – два – четыре. **Наш дом вернется к нам!** Как вы думаете? Ведь лавочник продаст его мне опять? Зачем он ему? Я знаю, цены на землю растут... Вы думаете, что мне не угнаться? Но ведь лавочник очень приличный человек и не будет меня душить. Борм – глухой городишко, там еще не все люди стали собаками... Как вы думаете, мадам?

Собака, внимательно слушавшая молодого садовника, иронически вскинула ухо.

Лидия Павловна смотрела на огонь и, слушая странные излияния лежавшего у костра человека, сочувственно покачивала головой. Утешала его: конечно, лавочник охотно продаст виллу сыну бывшего владельца. Пожалуй, и согласится, чтобы платили по частям... Жизнь вся впереди, родина – цветущий сад, большая родина – Франция, и маленькая – Прованс...

Утешала и ухмылялась своим русским затаенным мыслям, которые давно уже привыкла от всех прятать.

Юноша-жираф умолк. Сел на корточки. Перебрасывал в руках ярко тлеющие угольки... Потом встал, забросал песком догоравший костер, кивнул головой и, широко шагая, растворился вдали в лунном молоке.

Лидия Павловна сквозь колючий вереск и заросли можжевельника пошла к усадьбе. За ней шаг в шаг, преданно следуя по пятам, собака.

Сверкнули в соснах извилистые колеи ведущей к дому дороги... Чудак этот ей жаловался. Ей! Перелетной бездомной птице, залетевшей в его землю с русского пожарища... Что ж. Как могла, она его утешила.

Она бодро встряхнулась. Не надо, не надо. Луна, море, тишина. И глубокий, до самого дна души, отдых. Больше ничего.

На асфальтовой террасе у дома голубели широкие лунные холсты. Из крана звонко шлепала вода. Жирная жаба, ловившая под краном холодные капли, испуганно карабкаясь вдоль стены, изо всех сил зашпешила к углу дома во тьму лохматой герани. Она испугалась Лидии Павловны. Совсем напрасно испугалась, потому что учительница, наполнив блюдце водой, сама его отнесла к углу дома, чтобы безобразная ночная тварь напилась и успокоилась.

Бесшумно скользя с блюдцем под окном детской комнаты, Лидия Павловна услышала, как старший ученик тихо-тихо окликнул ее по имени.

– Ты что же это, Миша, до сих пор не спишь?

– Не сплю. Что вы делаете?

– Жабе пить несусь.

– Хорошо у моря?

– Чудесно.

– Жираф опять жаловался?

– Жаловался. Говори тише, а то брата разбудишь.

– Разбудишь, как же! Его хоть зубной щеткой под мышками щекочи...

Из окна вдруг высунулась худая детская лапка и лукаво-ласково дернула учительницу за плечо.

– Ай!

– Испугались?

Но собака толкнула сзади Лидию Павловну мордой под коленку. Будет! Что же это такое? Ведь спать пора. Ведь она, собака, должна учительницу до верхнего белого дома проводить.

И голоса смолкли. Никого не было на веранде. Если не считать звеневших над глицинией комаров да двух жаб, вылезших из-под герани к блюдцу с водой.

1928

Счастливым карп

Мама не совсем здорова, не выходит.

В субботу – базарный день. Миша, как всегда, собрался с раннего утра. Взял свою маленькую сетку для провизии, натянул до бровей синий колпачок и из передней крикнул отцу:

– Ты что же, папка, копаешься? Зонтика не бери, лягушка на балкончике.

У Миши был свой барометр с живой лягушкой на комод в спальню. Если лягушка взбиралась в банку по лесенке на балкончик, значит, день будет ясный. А может быть, и наоборот... Кто их разберет, лягушек этих французских?..

Папка долго еще копался: искал ключ от дверей, спички, трубку. Вместо носового платка наволочку в карман запихал, пришлось менять. Мешок для провизии Миша под пишущей машинкой разыскал, шляпу из-за кресла выудил. Что бы папка без Миши делал, даже подумать страшно...

А потом, только за дверную ручку взялись, мама из кухни выскочила:

– Рыбу, пожалуйста, не забудьте... Ты уж, Миша, пожалуйста, проследи, чтобы свежая была. А то прошлый раз...

– Знаю, знаю, мамуся! Ясные глазки, красные жабры. Макро брать, или колэна, или что?

– Да уж не знаю, чижик. Вы с папой там сами присмотрите, что посвежее.

– Идешь, папка?! Прямо терпение с ним лопается, с этим человеком.

Папка рассмеялся, с трудом натянул на правую руку левую перчатку и хлопнул дверью.

Базар длинной полотняной улицей тянулся шагах в двадцати от Сены. В самой гуще базара Миша ничего, кроме медленно плывших перед ним спин, не видел. Да чужие мешки со всех сторон задевали его то за волосы, то за нос. Но зато на перекрестке было просторнее. На панели, у самой мостовой, блестели на солнце солонки, жестяные крышки и соблазнительные копилки в виде румяных яблок и свиных голов. На раскидном столике грудой желтели солнечного цвета лимоны и бананы. Какая-то красная, похожая на тюфяк, баба сердито кричала, предлагая прохожим кудрявую овощь вроде мяты. Распластанные кролики с крохотными почками и печенками так беспомощно лежали на прилавках, раскинув ножки в меховых чулочках. Миша вздохнул...

Долго вздыхать было, однако, некогда. Ишь, отец, хитрый какой, засмотрелся на детские грабли и повозочки, а про рыбу и забыл.

Миша потянул его за рукав и потащил к рыбным столам. Выбирали недолго: с краю лежал симпатичный карп, как раз такой, как надо. Не большой и не маленький, ясные глазки, красные жабры, полненький и совсем не дорогой. Самый подходящий эмигрантский карп.

Уложили его в папин мешок, прикрыли сельдереем и пошли домой. А в маленькой сетке Миша нес то, что полегче и поделикатнее: головку кудрявого салата, три яйца в бумажном мешочке и сюрприз для мамы – пучок лиловых анемонов.

* * *

Вытащили толстяка-карпа на свет Божий из коленкорового мешка, положили на деревянную дощечку.

Миша тут же вертится, на апельсин самый большой нацелился; надо перед обедом выпросить, – сначала на коже китайскую рожу выкроить, а потом сок выжать, с малиновым сиропом взболтать и сладкую бурду через пульверизатор высосать. Любознательный был мальчик.

Покосился Миша на карпа, задумался. Хорошо все-таки быть человеком. В сеть тебя не словят, кожу скрести ножом не будут, на сковородку не положат... О! Что же это такое?!

– Ма-ма! Он зевает!..

– Кто зевает?

– Карп! Ура!.. Живой... Да иди же сюда, иди же! Хвост поднял!

Схватил Миша бесстрашно карпа поперек живота, бросил его в жестяную лохань, встал на табурет, отвернул кран. Хлынула вода, загремела о жесть, пена ключом, ничего не видно. А когда доверху дошла, в лохани прояснело. Смотрит Миша: медленно шевельнулась рыба, дышит, пасть открывает, хвостом туда и сюда. словно после обморока сил набирает.

Папка, конечно, рядом стоит.

– Ах ты, Карп Иванович! Смотри, Миша, вкруговую поплыл, носом тычет. Как же его теперь, чудака, жарить? Сами в чувство привели, сами и потрошить будем? А? Нехорошо это как-то. Негостеприимно.

– Никто его потрошить и не будет. Мы же не вампиры какие-нибудь! Мамочка, я его у тебя откупаю.

– Как, дружок, откупаешь? Что за глупости?

– Совсем нет. Возьми у меня в копилке двенадцать франков, столько, сколько он стоит, и сделай нам какой-нибудь моментальный обед. Я, мамуся, на все согласен. Пусть хоть молочный суп. Папка тоже. Согласен? Еще бы! Какой тут разговор... А карп пока будет жить...

– Под твоей кроватью? Отлично. А франков твоих мне не надо. Купи лучше на них своему карпу тюфячок.

– Ты, мамуля, не насмехайся. Позволь пока, ну позволь, миленькая, мармеладная, любимые глазки, ду-ду-дешечка, пусть пока поживет в ванне... А потом я для него постоянное местожительство придумаю. Честное слово. Поедим сардинок, что ли? Они без головы, их уже не жалко... Правда, правда? Ты же не вурдалак! Ты же золотая! Ты же не станешь из живой рыбы кишки выматывать...

– Не стану. Да замолчи ты, барабанщик. Тащи рыбу в ванну. Вдвоем берите... Господи, потоп какой! Марш из кухни! Как-нибудь уж вас накормлю, рыболовов... Только, чур, не ворчать. Выметайтесь!

В коридоре перед ванной Миша поскользнулся и запищал на всю квартиру:

– Расшибся! Вдребезги расшибся! Что же ты на меня смотришь?

Мама всплеснула руками и выскочила из кухни.

– Ногу ушиб? Ручку?

– Странная какая. Какие же у карпа ноги и ручки? Он ушибся, а не я!.. У него теперь сотрясение мозга делается... Почему же ты хохочешь? Безжалостная!

Но папка ловко подобрал трепыхавшуюся рыбу с пола и успокоил Мишу:

– Не пищи. Карп как мячик. Даже не треснул... Хоть на плитку его роняй! Открой в ванне кран... Стой, стой, не брыкайся! Пожалуйте, Карп Сидорович, будьте как дома... Температура самая для вас подходящая.

* * *

Карп третий день живет в ванне. Тесновато, но не так уж плохо. Воду меняют два раза в день. Да Миша чуть улучит минутку, свежей воды подольет. Оплывает карп ванну, со всех сторон гладко и кругло, выхода не найдешь. Иногда наверху электрическое солнце вспыхивает, беспокойная это штука.

Миша все старался с карпом подружиться. Встанет на скамеечку, сунет руку в воду и все карпа погладить норовит. А тот глуп, детских нежностей не понимает и как шальной в сторону шарахается.

И самое главное – ничего не ест. Уж ему мальчик и хлебные крошки бросал, и салата кусочки, и бисквиты, и даже хвостик сардинки. Не ест. Скучает, должно быть? Авось на следующий базар другой живой карп попадет. Вдвоем веселей будет...

Миша все свои океанские ракушки на дно ванны побросал и целлулоидную рыбку подкинул и лебеда. Карп на них внимания не обратил. Даже не понюхал.

Мама терпела день, терпела другой, на третий – ворчать стала. Что это за порядки? Живо-рыбный садок у них или квартира? Вчера Миша со скамеечки в воду перевернулся, всю курточку вымочил, едва за хвост его поймали... Ванну брать нельзя... Такой визг мальчик подымает, хоть беги из дома и уступай квартиру карпу. Да и отец, даром что взрослый, стал все в ванную с Мишей наведываться. Станут рядом и любят. Книжку, по которой Миша начинал читать учиться, и ту в ванную перенесли...

И решила мама затею эту прекратить. Ведь так, чего доброго, они в ванне креветок и морских ежей разводить станут...

Подумала она хорошенько, позвала Мишу и новый план перед ним раскрыла. Карп не ест, потому что ему без рыбьего общества скучно: в ванне он все равно захиреет, и придется его консьержкиной кошке на обед в помойное ведро выбросить. Стало быть, если Миша карпа любит и точно добра ему желает, надо в банку с водой посадить, отнести в Булонский лес и в озеро бросить.

Миша потупил глаза, вздохнул и мужественно согласился. В самом деле: третий день ничего не ест его рыбий приятель... Пусть уж не страдает, пусть возвращается в свое... общество.

* * *

Француженка уборщица, мывшая на кухне посуду, покачала головой.

Живой карп... Да ведь это прекрасное блюдо! Зачем же его в озеро бросать? Ведь он денег стоит.

Миша потянул папку за рукав.

– Идем... Она все равно что мадам Баба Яга, и я ее даже слушать не хочу. Сними с банки крышку! Ему дурно... Видишь, как он рот раскрывает?

Мама тоже собралась с ними в лес проводить карпа на его новую квартиру.

Банку поставили в сетку. Знакомая лавочница внизу тоже ничего не поняла. Пощелкала по банке пальцем и фыркнула:

– В озеро? Зачем же его покупали?

Подошел почтальон, тоже ничего не понял. Только маленький консьержкин сынок догадался:

– Ваша рыба будет в озере жить? Будет плавать вперегонку с другими рыбами?.. Да?

Шли людными улицами. Миша обложил банку в сетке газетой, чтобы посторонние люди не смотрели и не оборачивались. Никому нет дела! А может быть, и отымут? Может быть, нельзя живую рыбу назад в озеро бросать?

Показался лес. Каштаны уже развесили зеленые тряпочки, – новые, еще сморщенные листочки. Вдали забелела семейка берез. Обогнули скачки и наискось через свежезеленую полянку пошли к голубой, тихой воде. Миша отковырнул газету и заглянул в банку.

О чем думает теперь карп? Он и не знает, что сейчас отпустят его на свободу, как золотую рыбку в сказке... И потом Миша тоже как-нибудь придет на берег озера, вызовет карпа и попросит у него... не для глупой привередливой бабы, а для себя, чтобы карп ему подарил аквариум с ракушками... И жемчужное колечко для мамы. Ведь это очень скромное желание...

Пришли. Папа оглянулся. У берега на дощечке было написано ясно, что ходить по траве воспрещается. Но как же иначе пробраться к воде?

Оглянулись еще раз – вокруг никого – и вдоль кустов мирты быстро сбежали к берегу. Папа вытряхнул над водой банку... Вода вылилась, но карп... Несчастный растопырил плавники и хвостом вперед застрял в банке, и ни с места.

Миша побледнел и сжал маму за руку. «Что же это, мамуся, будет? Что же это, боже мой, будет?!»

Но папа не растерялся. Подобрал с земли камень, кокнул по банке, стекло, звеня, распалось, и рыба, дрыгнувши в воздухе хвостом, шлепнулась в воду и исчезла...

Два любопытных лебедя, словно игрушечные парусные корабли, медленно подплывали. Что там такое? Не хлебом ли кормят?

Быстро вернулись на дорожку, точно и не ходили они по запрещенной лужайке. Мама с папой шли впереди. Миша за ними. Шел и представлял себе, как рыбы окружили карпа и спрашивают его:

– Ты как сюда попал? Небывалый это случай, чтобы купленную рыбу обратно в воду бросали... У кого ты был?

– У Миши и его родителей. Русские они, эмигранты.

– Ну, благодари Бога. Счастливый ты, карп! А здесь живи, брат, спокойно. Из этого озера ловить рыбу строго воспрещается.

Купальщики

1. Мул

В конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над дверью гнездо – пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью. Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляпка и конусообразный, похожий на кактус хомут висят на своих колках... Мул хлопает плоским копытом в асфальт – нервничает.

– Купаться так купаться... Чего зря томить? В спину пыль вьелась, а почесать нечем...

Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается в солнечном квадрате двери.

– Ну, ты, леший!

Мул улыбается: как старая кокетка, поджимает губу и оттопыривает ее ковшиком. «Леший»... Должно быть, это самое ласкательное слово на незнакомом языке.

Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачиваясь, идет среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним с сосновой кисточкой в зубах – любимая его закуска на свежем воздухе. Сейчас за поворотом сквозь сосновые лапы мелькнет сине-зеленая полоса: верхняя краска – небо, нижняя – море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смотреть после конюшенной мглы, а в зеленую, прохладную жидкую краску он сейчас окунет бока.

Человек по дороге разделся – под можжевельник бросил штаны, под старую лодку куртку. В полосатых, болтающихся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шляпе шлыкком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не до него. Вошел, томно подбирая копыта, в зеленое лоно по самое пузо и застыл.

Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спину. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздрагивает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в воду морду. Пьет?.. Разве можно средиземную воду пить, – польнь с солью? Куцый и жидкий хвост, похожий на вставленную из озорства затертую метелку, ходит во все стороны: мул наслаждается, – он полощет рот.

Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки. Мул наконец свободен. Без классного наставника.

Осторожно пробуя копытами дно, он входит в море по самую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит. На далекий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на выплывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула тучу, на чайку, с наглым криком пролетающую взад и вперед мимо морды...

Косится на прозрачную тихую воду: треугольник за треугольником плывут к нему под водой косяки игольчатых светлых рыбок. Проплывают под пузом, – мул повернул голову, – выплывают с другой стороны... Жук! Мул прислушался и застыл. И кто его знает, если бы снять в этот момент его глаз, только один глаз, показать вам и спросить: чей это глаз? – вы бы, пожалуй, ответили: «Это глаз поэта, который сочиняет стихотворение в прозе...»

Да. Но из моря выходит человек и слизывает катящиеся с носа на губу соленые капли. Мул огорченно вздыхает, поворачивает под водой свое охлажденное до самой селезенки крепкое тело и покорно идет за человеком на берег.

2. Молодая собака

Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закрытые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сохнуть ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая коленками веселые брызги?

Но за спиной льстивый, осторожный визг. Дети переглядываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спиной к морю.

– Хэпи, Хэпи, Хэпи! Иди сюда, душечка.

Но душечка Хэпи, собачий недоросль и комик, не хочет. Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судороги в ногах обожает мальчика и девочку.

Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую борозду...

...Дальше не решается. Ни за что на свете! Ведь он знает, чем это может для него кончиться.

– Хэпи, Хэпи, Хэпичка!

Он страдает. Извивается, как грешник на раскаленной сковороде, подобострастно вертит хвостом и скулит:

– Пожалуйста... Умоляю вас... Подойдите лучше вы ко мне! Я оближу ваши руки и пятки, перевернусь через голову два и еще два раза... Отнесу домой в зубах ваши купальные костюмы, хотя соленая вода так противна... только не зовите меня к себе...

Он трет лапой переносицу – убедительней жеста у него нет – и смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, легаша с кенгуру, он очень некрасив, бедный Хэпи, но преданнее и нежнее сердца вы не найдете от Тулона до Ниццы.

Дети снова переглядываются и встают на невидимых пружинках. Девочка заходит справа, мальчик – слева. Они притворяются, что ищут на песке наперсток, который бабушка потеряла вчера на пляже. Но Хэпи понимает, какой это наперсток...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.